# Фридрих Наумович Горенштейн

## Андрей Кончаловский

## СКРЯБИН

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Строительный камень и мечта сделаны из

одного вещества и оба одинаково реальны.

Неосуществленная мечта есть неузнанный

издали предмет.

*А. Скрябин. Записи*

Была пасхальная неделя 1915 года, когда в большой красивой церкви Николы на Песках отпевали Александра Николаевича Скрябина. Хаос венков покрывал гроб, и среди них выделялся один особенно большой с надписью: «Прометею, похитившему огонь с неба и ради нас в нем смерть принявшему».

Три женщины в трауре, словно три Парки, стояли справа у гроба. Татьяна Федоровна, жена покойного, с каменным сухим лицом и две плачущие навзрыд старухи – Марья Александровна, мать Татьяны Федоровны, и Любовь Александровна, тетя покойного. Здесь же робко жались дети. В церкви было тесно и душно, синодальный хор пел литургию Кастальского, скорбные звуки которой столь отличались от ликующих, утонченно‑томительных мажорных аккордов, которыми Скрябин дерзко мечтал проводить в последний путь, к последнему своему празднику все человечество.

Но едва гроб вынесен был из церкви навстречу большой толпе, не вместившейся и ждавшей снаружи, как состояние подавленности и скорби словно само по себе, словно по мановению некой всеобщей силы начало исчезать. Толпа большей частью состояла из учащейся молодежи, и похоронные мотивы смешались и потонули в пасхальных ликующих песнопениях. Темп процессии был настолько бодрый и быстрый, что три пролетки впереди процессии, на которых везли венки, ехали не обычным похоронным маршем, а неслись чуть ли не рысью. Толпа словно бежала с гробом в руках. Погода была пасмурная – дождь с мокрым снегом – но когда миновали Арбат, Плющиху и вышли на Царицынскую улицу, ведущую к Новодевичьему монастырю, глянуло солнце и груды живых цветов, покрытых искрящимся на солнце тающим снегом, и бодрое единство тех, кто шел сейчас вместе, и молодой апрельский воздух – все это как бы говорило о том, что скорбь, пережитая в эти дни – лишь тяжелый сон, что жизнь непобедима и бесконечна. У ворот Новодевичьего монастыря к тысячному хору учащихся присоединился хор монахинь. Процессия направилась по новому, свободному еще кладбищу Новодевичьего монастыря. Могила была по правой стороне и тоже необычная какая‑то, светлая… Небо совсем уже очистилось, и солнце, еще довольно высоко стоящее в небе, даже начало припекать. Вырос могильный холмик с дубовым крестом и надписью: «Александр Николаевич Скрябин, скончался 14 апреля 1915 года». Толпа долго молча стояла вокруг. Стихли песни, не было речей, и лишь крики кладбищенских ворон нарушали безмолвие.

Вечером на квартире у Скрябина, которая отныне была уже вдовьим домом Татьяны Федоровны, собрались те, кто последние годы жизни Александра Николаевича бывал в этой квартире почти ежедневно, и из которых, по сути, давно уже составилась некая секта скрябиниан, преданная и ревнивая. Здесь был доктор Богородский Виктор Васильевич, человек еще не старый, высокого роста и решительного вида, ныне по случаю военных действий одетый в офицерский мундир, который еще больше подчеркивал сутулость доктора. Тут же то садился в кресло, то вскакивал и прохаживался Алексей Александрович Подгаецкий, молодой, но лысый человек актерского типа с кривым ртом и нервным тиком. Глаза у него были более добры, чем у доктора, хоть и более нерешительны. Был здесь Борис Федорович, брат Татьяны Федоровны, петербургский журналист, и Леонтий Михайлович, музыкант‑любитель и музыкальный критик. Здесь же, рядом с Татьяной Федоровной сидела и княгиня Гагарина в темном платье, с четками.

Собрались в большой гостиной, оклеенной рыжими обоями, уставленной неуютной мебелью. Татьяна Федоровна казалась вся ушедшая в себя, просветленная, с каким‑то нервно‑восторженным выражением лица.

– Священник Флоренский, – сказала княгиня Гагарина, перебирая четки, – вы, конечно, знаете его, господа, известный мистик и математик, так вот он вычислил, что через тридцать три года после смерти Александра Николаевича его Мистерия сможет осуществиться и сам Александр Николаевич в ней будет как‑то фигурировать.

Татьяна Федоровна с серьезным лицом посмотрела на княгиню.

– Да, я тоже слышал, – сказал доктор. – Это объяснить, конечно, нельзя, но у Флоренского совершенно точно вычислено, математически.

– Какая‑то радость есть в этой кончине, – блестя глазами, сказала Татьяна Федоровна. – И очень важно, что именно на Пасху, так и должно быть… Рожден в Рождество, а умер на Пасху… И гроб этот, как будто он сам несся, а не его несли. У меня такое впечатление, что гроб несся по воздуху, а за ним, как за вождем, бежала, именно бежала, толпа…

И в глазах ее явился уж совсем нездоровый блеск, какой бывает у деревенских кликуш.

– Надо теперь создать общество, – сказал Борис Федорович. – Однако важно, чтобы это было общество не только музыкантов и даже по возможности не музыкантов… И уж во всяком случае, не тех, кто при жизни гения кричали «Распни его!». Кстати, я слышал, Рахманинов собирался исполнять Александра Николаевича… Концерты как бы в память…

– Какое кощунство, – вскричал доктор и покраснел, – да и способен ли он… Этот Сальери… Пуччини…

– Господа, – негромко сказал Леонтий Михайлович, – но ведь всякая смерть примиряет, особенно смерть гения…

– Вы прагматик, – сказал доктор и сердито глянул на Леонтия Михайловича, – те, кто захочет идти за Скрябиным дальше, не останавливаясь перед его могилой, должны помнить, что на первом плане была его великая идея, его мистика… А она непримирима и чужда прагматизму… Впрочем, по одному из пунктов я с вами, как с прагматиком, все же хочу поговорить.

Доктор взял Леонтия Михайловича об руку и они вышли в соседний кабинет.

– Я согласен с доктором, – сказал Подгаецкий, – Александр Николаевич был сначала великий учитель человечества, а потом уже музыкант.

– Да, да, – сказала княгиня Гагарина, – ведь он самое свое великое оставил незапечатленным в физическом плане… Стало быть, не в музыке центр его творчества.

– Притом это находится в полном соответствии с его стремлением дематериализовать, – Подгаецкий замялся, – это… все это… N'est се pas?

Нервный тик его обострился.

– В первую голову надо именно мистическую… Эту… А музыкальная… Это неважно… И чтоб не попадали в общество инородные тела… Рахманинов, Кусевицкий, Танеев… Это ведь совершенно чуждый элемент…

В кабинете, полутемном, освещенном лишь фонарями с улицы, где пол был устлан толстым ковром и меж пальм в кадках стоял рабочий рояль Скрябина, доктор совсем иным, тихим усталым голосом говорил Леонтию Михайловичу:

– Нам, друзьям, надо подумать очень экстренно об одной вещи: ведь семья‑то совсем без гроша… Все, что было, истрачено на болезнь, да и было‑то пустяки… Трое детей, мать больная, сама Татьяна Федоровна совершенно к жизни не приспособлена…

– Да, этим надо заняться, – сказал Леонтий Михайлович и посмотрел на доктора, потом перевел взгляд на темный рояль, на пальмы.

– Ах, Боже мой, доктор, о чем это мы… Деньги, семья… А ведь Скрябин умер… Мы одни здесь с вами, доктор, будем честны… Неужели вам не хочется забыть обо всем – о распрях, о спорах… сказать самому себе – да, вот куда привели все эти безграничные метания, вся эта фантасмагория, богочеловечество и человекобожество… Он хотел быть богом, хотел зажечь весь мир, а сам пал от ничтожного фурункула, от стрептококка… Какая злая и страшная насмешка судьбы… А если б мы, его друзья, сказали ему при жизни: «Александр Николаевич, вы не богочеловек, не всемирный Мессия, не новый Христос, а всего‑навсего гениальный русский композитор… удовлетворитесь этим, цените это в себе…

– Вы опасный человек, – сказал доктор, – надеюсь, вы не посмеете затеять подобный разговор при Татьяне Федоровне.

В гостиной Борис Федорович говорил:

– Да, кончина Александра Николаевича – это великое событие, это страшное событие… Это больше, чем война, чем все победы и поражения… В астральных планах была буря, и она унесла Скрябина туда, где он, собственно, и должен быть, потому что он нездешний.

«Скрябин умер, – тяжело привалившись к спинке стула, думал Леонтий Михайлович, – его больше не будет… Не услышу уж его разговоров о Мистерии, не увижу его светлого опьяненного взора, не узнаю его радужных планов… Не будет больше его игры, его поцелуев звукам… Нет уж того солнечного света, который все сглаживал, все скрашивал и самым большим нелепостям придавал непонятное очарование».

– Сейчас произошли огромные сдвиги в тех планах, – сказала княгиня Гагарина, – обратите внимание, что скорбь наша была три дня, а потом наступило, помимо нашей воли, ликование. Отчего это ликование? И как оно мирится со смертью? Оно мирится, очевидно, потому, что смерть уже исчезла… Это смерть – сестра, и она вернула его нам, но мы этого еще не осознали… Он тут… Я думаю, что мы его должны почувствовать.

– Да, я думаю, что в эти дни мы должны его увидеть. Как – это будет трудно сказать, быть может, это будет чисто астральный образ… – сказал Борис Федорович.

Татьяна Федоровна осторожно встала, вышла на середину комнаты и, наклонившись, произнесла, словно открывая великую тайну.

– Я уже видела вчера вечером Александра Николаевича… Это было, как видение… Сначала как будто я почувствовала, а потом увидела его образ. – И помолчав, добавила в полной тишине: – Видела, как в медальоне…

#### \* \* \*

О, мир мой возлюбленный!

Я прихожу.

Твоя мечта обо мне – это я нарождающийся.

Я уже являю себя. Существо твое уже охватила легкая волна

моего существования

И огласилась Вселенная радостным криком: Я есмь!

А.Скрябин. Поэма экстаза

Нежный, красивый мальчик лет шести в панталончиках на помочах стоял, прижимаясь к совсем еще молодой женщине, и с выражением страдания и испуга на лице смотрел, как четверо босых мужиков в расстегнутых потных, рубахах сгружали с ломовой телеги рояль.

– Тетечка Любочка, – говорил мальчик, – ну миленькая, ну, попросите их, пусть они осторожно…

– Успокойся, Шуринька, – говорила Любовь Александровна, гладя мальчика по голове, – сейчас они его отнесут и поставят в залу…

– Нет, попросите, пусть осторожно, – снова умолял Шуринька.

Пожилая женщина с властным барским лицом, Елизавета Ивановна, бабушка мальчика, сказала:

– Люба, ты б увела Шуриньку в дом… Зачем ему здесь, в пыли.

– Нет, бабушка, – сказал Шуринька, – я не уйду, я с ним хочу быть… Скажи, бабушка, пусть они его осторожно.

– Любезный, – сказала Елизавета Ивановна мужику покрупнее и по виду старшему, – ты смотри… Чтоб аккуратно.

– Это можно, – то ли весело, то ли насмешливо, улыбаясь, сказал мужик. – Не впервой, барыня.

В этот момент один из мужиков споткнулся, рояль качнуло, одна из рояльных ножек коснулась земли, и струны издали тревожно‑стонущий шум.

– Они ему сделали больно, – с мукой в голосе крикнул Шуринька и, вырвав свою руку из тетиной ладони, запрокинув залитое слезами лицо, мальчик стремглав побежал к деревянному дачному дому, вбежал по ступенькам и, бросившись в своей комнате на кровать, сунул голову под подушку.

Обе женщины, Елизавета Ивановна и Любовь Александровна с тревогой последовали за мальчиком.

– Шуринька, – говорила Любовь Александровна, – не плачь, не огорчай нас.

– Рояль уже в зале, – сказала Елизавета Ивановна, – ему там хорошо, удобно.

– Это правда? – сказал Шуринька, вытаскивая голову из‑под подушки.

Слезы еще блестели у него в глазах, но лицо уже улыбалось приветливо и радостно.

– Ах, бабушка, ах, тетенька, – сказал Шуринька, – я ведь так вас люблю.

И вся эта сцена окончилась долгими взаимными поцелуями и взаимными ласками.

Гостиная зала на втором этаже дачного дома была залита ярким светом луны. Было полнолуние, и светло, чуть ли не как днем, и от этого ночного света все казалось нереальным. Из‑за теплой ночи окна были полуоткрыты, и с улицы доносились ночные шумы: какие‑то скрипы, пыхтение, вскрики птиц… Тихо отворилась дверь гостиной, и Шуринька в длинной до пят белой рубахе, босой, на цыпочках вошел, затаив дыхание, огляделся и пошел к стоящему у стены роялю. Нежно погладив полированный бок, он посмотрел на крышку, по которой, как по ночной воде, убегала лунная дорожка, и, снова погладив, начал целовать рояль, шепча:

– Тебе больно, миленький, тебя ударили… Злые люди сделали тебе больно… Покажи, где тебе больно… Ну, скажи мне на ушко, где тебе больно…

Любовь Александровна в наброшенном на ночную рубаху халате уже некоторое время стояла и с тревогой смотрела на мальчика. Осторожно, чтобы не испугать его, она подошла и ласково положила ладони ему на плечи.

– Это вы, тетя, – просто и серьезно сказал мальчик, – ему плохо, тетя, он обижен, он одинокий и больной… Он думает, что мы его совсем не любим.

– Ты ошибаешься, Шуринька, – тихо сказала Любовь Александровна. – Он знает, что мы его любим… И он совсем здоров…

И, усевшись перед роялем, она подняла крышку. Шуринька взобрался ей на колени, и она, положив его ручки на свои руки, тихо заиграла. Это была одна из мазурок Шопена, нежная и хрупкая, так соответствующая лунной светлой ночи. И под звуки Шопена мальчик прислонился к теплому тетиному лицу и спокойно уснул.

За столом у самовара Любовь Александровна разговаривала с дамой, крайне похожей на свою дочь Лизаньку, девочку лет восьми. На девочке было коротенькое платьице и белые, обшитые кружевом панталончики. Шуринька также был уже лет восьми, но ощущалось это не в росте, который немногим прибавился, а в выражении лица, на котором явилась какая‑то мечтательная озабоченность. Екатерина Семеновна, мать Лизаньки, положив в блюдечки несколько шариков ананасного мороженого, одно поставила перед дочерью, второе перед Шуринькой. Лизанька сразу начала есть, облизывая ложечку, а Шуринька неотрывно смотрел на чистенькие пальчики Лизаньки, которыми она держала ложечку, и на ее тоненькую красивую шейку. Он взял свою порцию мороженого и поставил ее перед Лизанькой.

– Мерси, – покраснев, сказала Лизанька и сразу начала есть из обоих блюдечек.

– Лиза, – сказала Екатерина Семеновна, – нельзя быть такой жадной.

– Но ведь Саша подарил мне свою порцию, – сказала Лизанька, продолжая есть.

– Дурные люди любят злоупотреблять чужой добротой… Лиза, сейчас же выйди из‑за стола.

Лиза‑вышла из‑за стола и, утирая слезы, пошла в детскую.

– Я пойду утешу ее, – сказал Шуринька.

– Какой добрый мальчик, – сказала Екатерина Семеновна, – а ведь он совсем не помнит свою мать… Как вчера было, узнала я, что у Любы Щетининой родился сын… Мы вместе с Любой в консерватории учились… Помню, мороз был, Рождество Христово… Да и отца своего мальчик знает мало… Ваш брат, кажется, моряк?

– Нет, он дипломат… Сейчас живет в Константинополе… Недавно вторично женился на итальянке… Но Шуринька сиротства своего никогда не чувствовал…

В это время Лизанька показывала Саше свои игрушки в пустой детской. Она брала куклу или плюшевого зверька, называла его по имени и протягивала Саше, который придумывал очень ловко другое смешное имя, отчего Лизанька хохотала. Лизанька в коротеньком платьице, в кружевных панталончиках была так необычна, так нова в Шуринькиной жизни, что в тот момент, когда она расхохоталась особенно громко и звонко, Шуринька вдруг нагнулся к ней и поцеловал в ямочку на щеке. Лизанька сразу замолкла и посмотрела на Сашу совсем по‑женски, так что у него впервые в жизни защемило сердце.

– Лизанька, – сказал он срывающимся голосом, – я люблю вас… Я буду любить вас всю жизнь… Если вас не выдадут за меня, я, как чеченец или турок, выкраду вас… Или уйду на войну и погибну. Поклянитесь, Лизанька, что вы будете верны мне до могилы…

– Клянусь, – весело сказала Лизанька и, обняв Шуриньку за шею, сама поцеловала его куда‑то пониже глаз.

Утром, бледный и похудевший, он сидел за роялем с отсутствующим нездешним взором и осторожно, нежно касался пальцами рояльных клавиш. Ласковая восторженность и печаль а‑ля Россини была в этой мелодии.

Был летний погожий день, когда Любовь Александровна шла с Шуринькой по улице, ведя его за руку.

– Ты рад, Шуринька, что увидишь папа? – говорила Любовь Александровна.

– Очень, – говорил радостно Шуринька.

– И Ольгу Ильиничну, жену папа, ты должен полюбить, – сказала Любовь Александровна, но с каким‑то странным, скучным выражением лица.

Однако Шуринька не вникал в оттенки, он был радостно встревожен от встречи с отцом и лишь улыбнулся в ответ.

В большом гостиничном номере было много зеркал. Шуринька, войдя, огляделся в растерянности, и тотчас же отец, явившись откуда‑то сбоку, сильно и чуть‑чуть даже больно прижал Шуринькино лицо к своему, усатому и твердому, обдав запахом сигар. И сразу же, не успев перевести дыхания, Шуринька оказался прижатым к мягким сочным губам, вкусно пахнувшим мятными лепешками. Это была мачеха Шуриньки, Ольга Ильинична, итальянка… Отец Шуриньки, Николай Александрович, был невысокого роста плотный мужчина с усами, с ямочкой на подбородке и вздернутым носом; сын во многом напоминал его. Мачеха же была веселой миниатюрной брюнеткой.

– Сашь будет мой кавалер.

И усадила Шуриньку рядом с собой за стол, уставленный восточными сластями.

– Николя, – сказала она мужу, – когда ты ухаживал за мной, у тебя было такое лицо, как сейчас у Сашь, – и она захохотала.

А Шуринька, не спуская восторженных, влюбленных глаз с ее смуглого красивого лица, с маленьких бриллиантиков, блестевших в ее маленьких ушках, тоже радостно смеялся.

– Оля, – играя брелоком от часов, хмуро как‑то, не в настроение жене, сказал Николай Александрович, – сейчас речь идет о дальнейшей судьбе Саши… Ему уже десять лет… До сих пор он жил в полной свободе, в неге, среди любящих и балующих его женщин, от этого он стал непомерно нервен и приобрел иные… – Он помолчал, – иные дурные черты, которые ему будут вредить в самостоятельной жизни.

– Коля, – сказала Любовь Александровна, – однако, не при ребенке же это говорить.

– Николя – восточный деспот, – сказала Ольга Ильинична, однако, не сердито, а с улыбкой. – Там, на востоке, перед русским консулом все склоняются, а здесь, в Москве, он не может привыкать, что на улице прохожие толкают его, как всякого…

– Саше пора в лицей, – пропуская мимо ушей замечание жены, хмуро сказал Николай Александрович.

– Ни за что, – весело сказала Ольга, – Сашь будет военный… Все настоящие мужчины должны быть военный… А Сашь настоящий мужчина… О, мы, итальянцы в этом знаем толк… Эта отцовская ямочка на подбородке…

– Саша будет музыкантом, – сказала Любовь Александровна, – ты ведь хочешь быть музыкантом, Шуринька?

– Я хочу быть военным, – сказал Саша и посмотрел на Ольгу Ильиничну.

– Что ж, можно и в кадетский корпус, – сказал Николай Александрович, чтоб закончить разговор, который был ему неприятен, ибо он опасался ссоры с женой и сестрой, – Скрябины – старинный дворянский род, среди которого всегда было много военных.

– Но Шуринька уже самостоятельно сочиняет, – сказала Любовь Александровна, – недавно он даже сочинил целую оперу «Лиза» на собственный сюжет. Правда, заметно влияние Россини, однако, для десятилетнего мальчика…

– Лиза? – спросила Ольга Ильинична. – А кто эта Лиза… Это девочка… Это дама… Пойдем, Сашь, мне все можно рассказать.

Подхватив Сашу за руку, она убежала с ним в соседнюю комнату, откуда доносились смех и шепот.

...Брат и сестра хмуро сидели за столом.

– Саша меня беспокоит, – сказал Николай Александрович, – он живет совсем не детской жизнью… Ему необходимо иметь товарищей… В этом смысле кадетский корпус весьма кстати.

Из соседней комнаты, перешептываясь, как заговорщики, появились Ольга Ильинична и Саша.

– Сашь мне все рассказал, – сказала Ольга Ильинична, – он больше Лизу не любит, теперь ему нравлюсь я… А в честь этого мы с ним в четыре руки исполним «Песню гондольера» Мендельсона…

И, сидя на высоком стульчике рядом с Ольгой Ильиничной, вдыхая пьянящий запах женских духов, Саша довольно умело и точно вместе со своей красивой мачехой исполнил Мендельсона.

Стоя перед зеркалом в кадетском мундирчике с синими погончиками, Саша чисто по‑женски с восторгом обновы и в то же время придирчиво и любопытно себя рассматривал. Он вынул гребенку и сделал себе прическу на пробор, затем снова изменил прическу, кокетливо прищурился, потрогал пальцами свой вздернутый нос и принялся явно заученным приемом его массировать от переносицы книзу.

– Какой ты худенький в мундире, – утирая слезы, сказала Любовь Александровна.

– Нет, тетя, мундир дивный, – сказал Саша. – Ведь правда красиво, ведь правда замечательно? – И он сделал перед зеркалом несколько танцевальных па. – Вот только нос, я слышал, что курносый нос – это признак слабого характера… Но массажем нос можно выправить, если массировать каждый день… А мундир замечательный… Правда, тетя, он мне к лицу.

Сняв мундирчик, повесив его на спинку стула, он начал тщательно чистить его щеткой.

В отдельном кабинете ресторана «Прага» Сергей Иванович Танеев ужинал со своим приятелем генералом, любителем музыки. Сергей Иванович был не в духе, сердито разрезая балык, он говорил:

– Вчера в концерте по требованию публики дважды повторили Вагнера… Из «Тристана и Изольды»… А ведь пакость‑то какая, ведь пакость‑то… Падение какое… Словно не было Моцарта и Гайдна. И эту гадость из «Тристана» всю целиком опять сыграли… Такой ужас… Вот прав был Петр Ильич Чайковский, который говорил, что Вагнер – это пакостный хроматизм… И пусть мы в консерваториях… Я, Танеев, трижды повторяю – пакость, пакость, пакость… – И Танеев засмеялся своим икающим смехом.

– Да, – говорил генерал, так же нарезая балык и поблескивая при этом большим изумрудным перстнем. – Я с вами полностью согласен, Сергей Иванович. Но если по сути, то падение началось еще с Бетховена. Будьте последовательны, еще с Бетховена… Бетховен праотец Вагнера.

– Эк вы, – засмеялся Танеев. – Ну, Бетховен уж ни при чем… Конечно, божественного там нет… Это не Моцарт… Но уж вы слишком…

Он посмотрел на часы.

– Мне пора… Я ведь теперь в Консерватории директор… Власть.

– Кстати, – сказал генерал, – можно ли привести к вам маленького талантливого музыканта?

– Кто же это? – спросил Танеев, вытирая губы салфеткой. – Небось, тоже вагнерист… Они теперь с колыбели Вагнера любят.

– Нет, – сказал генерал, – очень милый мальчик, внук Александра Ивановича Скрябина, полковника артиллерии.

– Что ж, – сказал Танеев, – привезите, посмотрим…

В большой холостяцкой квартире Танеева на стульчике у рояля сидел Саша Скрябин, маленький, бледный кадетик. Сергей Иванович, поглядывая на мальчика с улыбкой и даже, кажется, подмигивая ему, говорил взволнованной Любови Александровне:

– Слух превосходный, очевидные способности. Правда, пальцы слегка слабоваты… Но в конце‑то концов… Вы летом на даче?

– Да, мы в Ховрино, – торопливо, точно от этого что‑то зависело, сказала Любовь Александровна, – по Николаевской железной дороге.

– Очень хорошо, – сказал Танеев, – прекрасная местность… Пруды… Соловьи… В Ховрино я вам порекомендую юношу, который, кстати, нуждается в заработке… А зимой в музыкальную бурсу к Николаю Сергеевичу Звереву… У него там чудные детки – Леля Максимов, Сережа Рахманинов, Мотя Пресман… Ружейный переулок…

Он взял лист бумаги и написал, одновременно произнося вслух:

– Николай Сергеевич Зверев, профессор младших классов консерватории…

В большом зале Благородного собрания звучали аплодисменты. Это был дневной ученический концерт. На краю сцены стоял Саша Скрябин, упиваясь успехом, выпавшим на его долю. Он только что сыграл Шумана, а на бис – Листа… Саша Скрябин был в ту пору уже юношей с лицом обострившимся, потерявшим детскую округлость, детскими оставались лишь улыбка и глаза мальчика, привыкшего к успеху, баловству и почитанию и воспринимавшего сейчас аплодисменты и восторги радостно, но несколько самонадеянно.

В зале, рядом с двумя красивыми девушками, сидел Мотя Пресман, на этот раз в концерте не участвовавший, и говорил:

– Это Саша Скрябин… Особенно обожает Шопена… Заснуть не может, если не положит сочинения Шопена себе под подушку…

В антракте Мотя подвел девушек к Скрябину и сказал:

– Разрешите представить – Саша Скрябин… А это Ольга и Наташа.

– Как чудно вы играли сегодня Papillons Шумана, – подняв восторженное лицо, сказала Наташа.

Она была в платьице гимназистки и ей было лет пятнадцать, не более.

– И Листа вы чудно… Спасибо вам за удовольствие.

Саша Скрябин посмотрел на Наташу долгим взглядом, он был явно влюблен в первые же минуты и это выразилось в том, что самонадеянность, вызванная успехом и аплодисментами, исчезла и явились робость и застенчивость.

– Извините, как вас по отчеству? – спросил он.

– Наталья Валерьяновна, – так же робко ответила девушка.

– Многоуважаемая Наталья Валерьяновна, – сказал Скрябин, не спуская с девушки радостных, как бы опьяненных глаз, – я рад, что сумел доставить вам хотя бы мимолетное удовольствие.

– Но мы слышали, – сказала Ольга, которая была постарше и поактивней, – что ваш любимый музыкальный бог все‑таки не Шуман, не Лист, а Шопен… Однако, как можно в наш век общественных движений считать богом салонного композитора?

– Ах, нет же, – сказал Скрябин, по‑прежнему глядя на Наташу, – как вы ошибаетесь… Шопен – это вечность, ибо вечность – это любовь, в которой главное не страсть, а нежность…

Вечером в глухой аллее городского сада, куда едва долетали звуки оркестра из танцевальной раковины, Саша Скрябин говорил, держа Наташу за руку, говорил искренне, но в то же время как бы в ритме декламации.

– Наталья Валерьяновна, вы мой мир, моя свобода, моя вечность… Я не переживу момента разлуки, если злой рок того пожелает.

– Не говорите так, Александр Николаевич, – отвечала Наташа. – Ваш путь – это путь гения, я знаю. Но ведь вы сами сказали, что гений – это центр вселенной. А я простая девушка. Разве я гожусь в жены гению?

– Нет, Наталья Валерьяновна, – говорил Скрябин, глядя в звездное небо, – вы из тех, кто способен быть в центре вселенной.

– Но меня пугает, – сказала Наташа, – что вы отрицаете Бога… Маман отказала от дома студенту Слободкину, который ухаживал за Ольгой, из‑за того, что тот социалист и против Бога.

– Гений выше Бога, – сказал Скрябин, – я это недавно понял… Гений – вечное отрицание себя в прошлом… Гений – жажда нового… история человечества есть история гениев…

В доме Танеева Скрябин показывал недавно написанный им фортепианный концерт. Лицо Скрябина еще более осунулось, то ли от болезни, то ли от усталости, кожа приняла зеленоватый оттенок, а нос казался совсем уж сильно вздернутым и подбородок сильно раздвоенным.

– Это только две первые части, – говорил Скрябин рассеянно то ли здесь сидящим, то ли неким отсутствующим и невидимым собеседникам, – финал еще не написан.

И он принялся наигрывать отрывки.

Сергей Иванович Танеев сидел за столом, а в кресле‑качалке расположился молодой человек, музыкант и начинающий музыкальный критик Леонтий Михайлович.

– Ну, что ж, Саша, – мягко сказал Танеев, когда Скрябин кончил показывать отрывки, – не касаясь существа, могу отметить пока погрешности чисто технические… Если вы оставите партитуру, я с удовольствием… Помните ваш ноктюрн, – Танеев засмеялся, – нехорошо, нехорошо кончать сочинение в положении квинты, это пусто звучит.

– Простите, – сказал Леонтий Михайлович, посмотрев на Скрябина, – а как именно вы относитесь к Вагнеру, если не секрет?

– Вагнер бесформен, – не глядя на собеседника, сказал Скрябин, – и потому увлекать не может.

– У нас у всех, – сказал Танеев и засмеялся своим икающим смехом, – у нас ненависть к Вагнеру априори… На основании попурри из Рейнгольда… Это я недавно обнаружил… А вы, Саша, пойдите в консерваторскую библиотеку и возьмите партитуру и клавир аусцуг «Гибели богов»… Я это уже проделал по совету Николая Андреевича Римского‑Корсакова… Очень любопытно… Там музыкой яблоки изображаются, и меч, и еще что‑то такое… Да не теперь, не сразу, – заметив, что Скрябин встал и собирается, сказал Танеев. – Пирога хоть с капустой поешьте, сочинение няньки моей Пелагеи Васильевны.

– Нет, мне пора, – сказал Скрябин и, раскланявшись, вышел.

– Обиделся он, что ли, – пожав плечами, сказал Танеев и, обернувшись к Леонтию Михайловичу, спросил: – Ну как вам, Леленька?

– Музыка на меня не произвела никакого впечатления, – сказал Леонтий Михайлович, – так это так‑то пишет отрицающий Вагнера… Разжиженный Шопенчик, и все тут… Да и особой интеллигентности в лице его нет… Обычный консерваторский молодой человек… Развязный, но с художественным самомнением… Никакой скромности… В общем, некультурный элемент.

– Он очень талантлив, – тихо сказал Танеев, – но он всех отрицает… Этакая юношеская бодливость… И кроме того, он как‑то там хочет соединять философию с музыкой… Я только не понимаю, как он соединяет философию, ведь он же ее не знает… Звуками хочет мировой дух вести к самоутверждению.

– Бедный мировой дух, – засмеялся Леонтий Михайлович. – Мировой дух, который нуждается в самоутверждении… Все это офицерская философия… Это из кадетского корпуса философия.

– Он очень способный, – сказал Танеев, – но у него эта модная страсть к оригинальничанью, чтоб ничего толком и в простоте… Все вверх ногами.

В ресторане «Эрмитаж» за столом, уставленным множеством бутылок и едой, сидели Сафонов и Скрябин. Движения обоих уже были несколько размашисты и тяжелы.

– Пойми, Саша, – говорил Сафонов, глядя в упор на Скрябина, – у них группа, партия… И в консерватории, и в музыкальном обществе. Вождь – Танеев, вице‑канцлер – известный тебе Аренский… И прочие, и прочие… Большинство парламентских мест у них… Кумир, авторитет, идол – Чайковский, – Сафонов разлил вино по бокалам. – Кого Чайковский отвергает, тех вон… Чайковский не любит и считает вредным Мусоргского, значит, вон Мусоргского, называет пакостью Вагнера – значит, вон Вагнера… Да что там Вагнер… Они даже академического Брамса отвергают, потому что его не любит Чайковский…

– Насчет Танеева вы, Василий Ильич, уж слишком, – сказал Скрябин, отпивая из бокала и откусывая кусок рябчика. – Сергей Иванович, конечно, консерватор, но человек доброжелательный, искренний.

– Как ты наивен, Саша, и что это за либеральные словечки… Доброжелателен, искренен… Я, Саша, донской казак… Сын казачьего генерала… Ты также из офицерской среды… Мы – военное дворянство, мы должны более твердо смотреть на бытие… Милейший, – сказал Сафонов подошедшему официанту, – принеси расстегаев, семги, ухи покрепче… И шампанского побольше… Четыре, нет, десять бутылок… У нас долгий разговор… Мы всю ночь до утра сидеть будем.

– Как можно‑с, всю ночь… Не велено‑с…

– А ты запри нас на ключ, – утром отопрешь. – И он сунул официанту денежную купюру.

Была глубокая ночь, множество бутылок загромождало стол. Скрябин говорил:

– Вчера я получил письмо от Николая Андреевича Римского‑Корсакова. Оно меня немного опечалило. Он любезно согласился просмотреть партитуру концерта, но неужели только для того, чтоб заявить: оркестровка слабая… Ведь легко сказать – учись инструментовке, а способ только один – это слушать свои сочинения в исполнении… Но меня не исполняют… Фантазировать я горазд, такой узор выведу, и самому Римскому‑Корсакову не снилось… Да что там… Я считал Римского‑Корсакова добрым, добрым, а теперь вижу, что он только любезен.

– Дорогой Саша, – сказал Сафонов, – мне известен этот прискорбный случай, но известен со всех сторон… Я ранее не хотел касаться, но раз уж ты сам… А знаешь, что написал, передавая Лядову концерт, Римский‑Корсаков? «Посмотрите эту пакость, это свыше моих сил… Я не в состоянии возиться с этим слабоумным гением»… Это с тобой, Саша…

– В вечности все сливается и все пребывает, – сказал Скрябин. – Но так трудно прожить хоть одно мгновение не бытово, не скучно, без мещанского пессимизма… Этот венок из смеха, этот венок из роз, вам, братья мои, бросаю я этот венок… Смех освятил я… О, высшие люди, учитесь у меня смеяться… Как говорит плясун Заратустра… Смех и радость – вот цель искусства, ведущего в будущее…

Был рассвет, у Сафонова еще больше набрякли мешки под глазами. Лицо Скрябина было измученным и поблекшим.

– Ах, Василий Ильич, – устало говорил он, – сколько планов и надежд, какие мечты… Я жить хочу, я действовать хочу и побеждать.

– Тебе надо в Петербург, Саша, – говорил Сафонов. – Ты все ищешь милых людей, они тебе кажутся в каждой подворотне… И Танеев милый, и Римский‑Корсаков милый, и Рахманинов милый, и Лядов замечательный… А в Петербурге действительно есть милый человек, не музыкант, упаси Бог, но музыку любит и понимает… Митрофан Петрович Беляев, лесопромышленник… Повезем ему твои сочинения… Ноктюрн оратории девять, Прелюдию оратории два и Ораторию одиннадцать си‑бемоль. Еще кое‑что повезем… Организуем концерты… Созовем музыкальный консилиум… И явится новая восходящая звезда – Скрябин, пианист и композитор… Ура!

Загремел ключ в входных дверях ресторана. Официанты расставляли приборы на столах, с неодобрением глядя на двух мятых ночных гуляк.

Утренний снег был ослепителен для красных от бессонницы глаз. Сафонов в расстегнутой тяжелой шубе поднял трость, остановил сани.

– А сегодня, Саша, – говорил Сафонов, усаживаясь рядом со Скрябиным в сани, – отдохнешь, повезу тебя в один милый дом в Гнездниковском тупике… Новый профессор консерватории Павел Юльевич Шлёцер… Слыхал… Давно тобой интересуется… Дорогой Саша, у тебя впереди великая всемирная жизнь… Ты все завершишь и все подытожишь…

– Я знаю это, – просто сказал Скрябин.

...У Шлёцеров музицировали. Вернее, сам хозяин, Павел Юльевич Шлёцер, сидя за роялем, наигрывал куски, которые, по его словам, особенно были дороги в его исполнении Рубинштейну и Листу. У Павла Юльевича было лицо доброго веселого хвастуна и фантазера. Ида Юльевна, сестра его, седая дама, напротив, имела вид практичный и решительный. Здесь же была молодая барышня, нежная и застенчивая, и маленькая востроглазая девочка, очень живая, поминутно вскакивающая со стула, что‑то ищущая и вообще всячески создававшая беспорядок.

– Какие имена, – говорил Павел Юльевич, – какое звучание… Рубинштейн, Лист… И Антона, и Ференца я видел рядом, я ощущал их великие жизни, они любили меня… А ныне кумир консерватории – Рахманинов… Величия нет в фамилии… Рубинштейн – гром небесный, Лист – святая молния…

– Павел, – сказала Ида Юльевна, – надо бы кончить воспоминания о самом себе… Скоро явятся гости, а у нас непорядок… Танюша – спать… Верочка, вы бы приоделись…

– Да, гости, – сказал Шлёцер, – вот посмотрите, какой превосходный композитор объявился – Скрябин… Это не то, что Рахманинов… Тот списывает себе Вагнера и думает, что он Чайковский…

В передней раздался звонок.

– Они, – сказала, заметавшись, Ида Юльевна.

Скрябин и Сафонов были красными с мороза, оба в сюртуках.

– Я привез вам мое сокровище, – обнимая Скрябина за плечи, сказал Сафонов.

– Ждем вас с нетерпеньем, – чрезмерно, до мельканья в глазах оживленная, говорила Ида Юльевна. – Брат мой, Павел Юльевич, профессор консерватории… А это наша Верочка… Ученица консерватории… У Павла Юльевича. Отец Верочки, Иван Христофорович, доверил нам Верочку как самый дорогой свой капитал. Верочка живет в нашей семье, как родная дочь… Она из Нижнего Новгорода.

– А я из Пятигорска, – вдруг выскочила вперед востроглазая девочка.

– Это моя племянница, – улыбнувшись, сказала Ида Юльевна, – брата моего Федора дочка, Танечка… Гостит у нас.

– С Верой Ивановной мы уже знакомы, – сказал Скрябин, – но мимолетно… Теперь я вспомнил… Мы познакомились на ученическом вечере в память Николая Рубинштейна. Когда вы играли, Вера Ивановна, я подумал: вот, наконец, пианистка, которую я смогу с удовольствием слушать…

– Благодарю вас, – сказала Вера, и лицо ее и нежная красивая шея густо покраснели.

– Ведь она же моя ученица, – сказал Павел Юльевич. – Превосходная пианистка… Пророчу ей золотую медаль…

– Верочка вообще чудесная барышня, – сказала Ида Юльевна, – красавица наша…

Вдруг Скрябин невольно оглянулся. Из дальнего угла на него смотрели острые и темные глаза маленькой Татьяны Федоровны.

Скрябин и Вера Ивановна были одни в небольшой комнате, куда сквозь приоткрытые двери доносился шум застолья и, время от времени, громкий смех Павла Юльевича. Оба сидели на диване, и Скрябин говорил:

– Работаю я много, жизнь же веду, надо сознаться, крайне нездоровую, ложусь поздно, иногда в четыре утра, встаю большей частью с тяжелой головой, много нервничаю, ну да, верно, такой уж мой удел… Совсем я завеселился… Вернее, не завеселился, а забегался и разнервничался… Ложь для меня невыносима… Есть вещи, к которым нужно относиться серьезно. И уж, во всяком случае, объяснять почему необходима ложь, если она порождается…

– Как же несправедлив мир, – тихо сказала Вера Ивановна, – если такой прекрасный, такой святой человек, как вы, Александр Николаевич, не имеете счастья.

– Но какое же счастье без Натальи Валерьяновны, – чуть ли не вскричал Скрябин, – ах, Вера Ивановна, вы не знаете ее… Наталья Валерьяновна спасительница… Мои слова о ней это голос больной измученной души…

Он вдруг выхватил спрятанный на груди засушенный цветок и поцеловал его.

– Это от нее, – сказал он после паузы, она знает, что я люблю цветы и шлет мне цветы… Да возможна ли жизнь, возможно ли дыханье без Натальи Валерьяновны… Вера Ивановна, если бы вы видели ее лицо, ее небесные глаза, ее улыбку…

– Она, видно, очень любит вас, – тихо сказала Вера Ивановна, и с ласковой печалью посмотрела на Скрябина. – Возможно ли живое существо, которое бы не отвечало любовью на такую любовь, как ваша… Поверьте, Наталья Валерьяновна очень вас любит… Кого ж еще, как не вас, любить на этом свете, Александр Николаевич…

Скрябин поднял голову, и они с Верой Ивановной посмотрели друг на друга долгим взглядом.

#### \* \* \*

Кто бы ни был ты, который наглумился надо

мной, который ввергнул меня в темницу, вос‑

хитил, чтобы разочаровать, дал, чтобы взять –

я прощаю тебя. Я все‑таки живу, люблю жизнь,

люблю людей. Я иду им возвестить мою победу

над тобой и над собой, иду сказать, чтобы они на

тебя не надеялись и ничего не ожидали от жиз‑

ни, кроме того, что сами могут себе создать.

А. Скрябин. Записи

Скрябин стоял перед зеркалом, совершая туалет, очевидно, собираясь куда‑то идти. Он заметно постарел, завел небольшую бородку и усы, но глаза были все те же, скрябинские, молодые и с несколько отсутствующим опьяненным взором.

– Вушуночка, – сказал он вошедшей с четырехлетней девочкой на руках Вере Ивановне и целуя ее и девочку, причем не переставая массировать лицо. – Вушука, я был на репетиции Прелюдии, и представь мою радость, она звучит очень хорошо. Римский‑Корсаков был непривычно мил, прошел почти все инструменты отдельно, занимался целый час. – Он поправил галстук. – Вушука, ты не находишь, что этот жилет не сочетается с галстуком? Мне кажется, стоит надеть клетчатый.

– Ты будешь ужинать, Саша? – устало спросила Вера Ивановна.

Она располнела, побледнела и на по‑прежнему нежном лице ее были заметны следы частых тревог.

– Кстати, – говорил Скрябин, на ходу переодевая жилет, – концерт прошел не без приключений… Тебе, вероятно, известно, что Настя Сафонова очень больна… Так вот в день симфонического Василий Ильич получил две телеграммы с весьма тревожными известиями и потому сильно взволновался. Это отразилось, конечно, на аккомпанементе… Ты только ему ничего не говори… Во время исполнения первой части мы непрестанно должны были друг друга ловить.

В это время из детской раздался плач младенца, к нему присоединился плач детей постарше, как бы перекликаясь, заплакала и Риммочка. Скрябин поморщился, а Вера Ивановна торопливо пошла в детскую.

– Левушка проснулся, – сказала она, выходя через некоторое время уже без Риммочки.

– Премию мне, Вушка, присудили, пятьсот рублей, – говорил Скрябин, затыкая крахмальную салфетку за ворот рубашки и ложечкой разбивая яйцо, – за участие в симфоническом выдали двести; авторские я получу еще пятьдесят рублей… Если б каждый раз так, то службу в консерватории можно было бы оставить… О, как это все надоело, – сказал он, вскочив из‑за стола, но тут же снова усаживаясь, – имея семью в шесть человек, четверо детей… Вушка моя, а ведь знаешь, какое я дело задумал… Я философскую оперу хочу создать… В центре творец‑художник, поднявшийся над миром… Все, что делалось мной до сих пор, ничто по сравнению с моим замыслом… Ведь правда, это прекрасно, ведь правда – дивно?

И он снова вскочил.

– Не знаю, Саша, – сказала Вера Ивановна, – меня всегда пугали твои попытки связать музыку с философией и религией…

– Но ведь в этом суть, – вскричал Скрябин, и прямо с салфеткой подбежал к роялю, начал наигрывать с блестящими глазами. – Вот ранние престо, вторая часть… юношеская соната эс‑бемоль… Правда, ты говоришь, что это хорошо… Ты это нарочно говоришь…

– Это, Саша, очень хорошо, – сказала Вера Ивановна, – когда ты живой, когда ты музыкант, когда нет философствующих отвлеченностей.

– А вот послушай… Я тебе сыграю коротенький отрывок… Он еще не на бумаге… Это мое последнее… Разве это можно сравнить с моей сонатой es‑moll… To детский лепет…

– Мне не нравится, – сказала Вера Ивановна, когда он кончил.

– Почему?

– Тут ты опять не Скрябин, а хитроумный Одиссей…

– Это потому, что ты ничего не понимаешь, – сердито сказал Скрябин.

– Очень может быть, – сказала Вера Ивановна, – но я считаю, что музыка должна быть искренна, непосредственна… Как Третья твоя соната, например… А здесь надуманная сложность… Холод…

– Разве это надуманно? Вот послушай… тут пять тем… Вот первая, – он басом начал напевать первую, – вот вторая, ей встречная, вот третья, вот четвертая им противоречит, вот опять первая, уже измененная, все поглощает, над всем господствует…

– Темы хороши сами по себе, – сказала Вера Ивановна, – но, так переплетаясь, они образуют какофонию, утомляющую ухо…

– Ты дерзкая девчонка, – сказал Скрябин, – но скорей мягко и покровительственно, чем грозно, – как ты смеешь мне это говорить… Впрочем, мне пора.

Он надел сюртук и, подойдя вновь к зеркалу, принялся себя осматривать уже в сюртуке.

– Ты куда, Саша? – спросила Вера Ивановна.

– Что? – сказал Скрябин. – Как, разве я тебе не говорил… Приехали племянники покойного Павла Юльевича Шлёцера… Замечательные люди. Остановились в меблированных номерах «Принц»… Недалеко… Газетный переулок… Танюша, девочка, стала Татьяной Федоровной… Ты, Вушка, ахнешь, когда увидишь… Милая, умненькая, хочет заниматься музыкой… А Борис Федорович вообще умница… У меня с ним много общего в философском плане… Я, может, сегодня поздно… Так что сейчас детей поцелую.

Он пошел в детскую, где спало четверо детей – три девочки и годовалый мальчик Левушка, и осторожно поцеловал их всех, касаясь губами лобиков и крестя.

Особенно же задержался над любимицей своей, Риммочкой, поправив одеяльце. Вера Ивановна стояла в дверях, с трудом сдерживая слезы.

В тесном меблированном номере, стоя посреди комнаты и сложив руки на груди, Скрябин говорил:

– В первом акте оперы герой‑поэт сидит в своем кабинете, и перед ним проносится ряд видений, потом гонения судьбы, проза жизни, может быть, тюрьма…

Татьяна Федоровна была молодая девушка маленького роста, с черными острыми глазами, в которых сейчас, впрочем, был искренний восторг и восхищение. Борис Федорович был старше сестры и, напротив, роста высокого, да и вообще на сестру не очень похож.

– Идеализм должен быть конкретен, – говорил он. – Абстрактный идеализм страшится разума… В вашем замысле, Александр Николаевич, есть мистицизм, но нет страха перед разумом и потому это гениально.

– Это чудно, – грассируя, сказала Татьяна Федоровна, – вы знаете, Александр Николаевич, четырнадцати лет, гимназисткой, живя в глуши, на Кавказе, я впервые познакомилась с вашими сочинениями… А когда Борис привез вашу Третью сонату, я сразу поняла, что вы выше Вагнера.

– Мой нынешний замысел гораздо обширнее, – сказал Скрябин. – В нем должна быть всемирность… Я бог! – вдохновляясь, продекламировал он. – Я ничто, я игра, я свобода, я жизнь, я предел, я вершина, я бог, я расцвет, я блаженство, я пожар, охвативший вселенную, я слепая игра разошедшихся сил…. Я сознание уснувшее, разум угасший.

Подбежав к роялю, он взял несколько сильных аккордов.

– Рассудок мой, всегда свободный, мне утверждает: ты один… Ты – раб случайности холодной, ты всей вселенной господин. – И он снова взял несколько аккордов.

Однако в тот момент застучали в дверь. На пороге явилась какая‑то дама в папильотках и капоте.

– Господа, – сердито сказала она, – по правилам меблированных комнат позже одиннадцати вечера играть не полагается. – У меня дети спят. Я жаловаться буду.

И она захлопнула дверь.

– Какое святотатство, – с возмущением сказала Татьяна Федоровна, – запретить играть Скрябину.

Скрябин захохотал и сказал:

– Коли уж вам так хочется меня послушать, пойдемте ко мне домой.

В гостиной у Скрябиных Александр Николаевич играл свою Третью сонату. Хрупкая, утонченная до прозрачности мелодия, царила в комнате, но каждый из слушателей чувствовал в ней свое. Татьяна Федоровна не столько слушала музыку, сколько восторженно смотрела на исполнителя. Впрочем, для нее небесная мелодия как бы материализовалась в этом человеке в пестрой жилетке, с бородкой и пышными усами. Вера Ивановна сидела с печальным и усталым лицом. Борис же Федорович выражал глубокомыслие, делая в блокноте какие‑то заметки. Пробило два часа ночи, а Скрябин все играл и играл.

На очередной музыкальной ассамблее у Сергея Ивановича Танеева говорили о Скрябине, нынешнем возмутителе спокойствия. Были здесь люди известные, малоизвестные и вовсе неизвестные, всего десятка три. Кроме самого хозяина, были здесь Лядов, Аренский, Рахманинов, с мрачным, демоническим видом сидевший в стороне, знакомый нам молодой критик Леонтий Михайлович и прочие дамы и господа.

– Господа, – горячо говорил Леонтий Михайлович, – лично меня раздражает даже сам факт, что симфония Скрябина почему‑то в шести частях… и с хором в финале… С места в карьер… Сразу под Девятую симфонию Бетховена… Не более не менее…

– Нет, господа, – сказал Аренский, и на полутатарском лице его явилась язвительная улыбка, – я решительно настаиваю, что в афише ошибка… Следовало вместо „симфония“ напечатать „какофония“… В этом, с позволения сказать, сочинении тридцать‑сорок минут тишина нарушается нагроможденными друг на друга без смысла диссонансами… Это не симфония, а именно нарушение тишины.

– Уши отдыхают в антракте, когда музыканты настраивают инструменты, – поддакнул кто‑то из второстепенных и захохотал.

Несколько человек, также из второстепенных, его поддержали.

– Неудивительно, что в публике кричали – долой с эстрады, – сказал кто‑то.

– А все Танеев, Сергей Иванович, – сказал Аренский. – Наш любимый друг, чья доверчивость и простодушие вошли в поговорку… Во‑первых, в качестве профессора Сергей Иванович пригласил казачьего есаула Сафонова, тот, разумеется, сразу же Скрябина на щит, свел его еще с одним милым, доверчивым человеком, Митрофаном Петровичем Беляевым, благо милые, доверчивые люди у нас на Руси в избытке, и пошла писать губерния… Глинковская премия, зарубежное турне… А что здесь показывать загранице, господа?.. Ведь прав Цезарь Кюи: Скрябин – это украденная шкатулка с неизвестными рукописями Шопена.

– Ну, уж ты, Антоний, тоже чересчур, – сказал Танеев, – Цезарю Кюи вообще все чужое не по вкусу, особенно, если оно авторитетами не освящено… А вот Стасов, например… У меня со Стасовым был как‑то разговор, и он мне сказал, что просто удивлен, сколько людей восстановлено против Скрябина…

– Да, Стасову лишь бы поновей и чтоб на солнце блестело, – вскричал Аренский. – А ты у Толи Лядова спроси… Ему Беляев удружил, поручил просмотреть корректуру скрябинской симфонии… Прачке Толе чужое белье стирать.

– Это верно, удружил дорогой Митрофан, – добродушно захохотал Лядов, – двенадцать дней в поте лица трудился… Ну уж и симфония… Скрябин смело может подать руку Рихарду Штраусу… господи, да куда же девалась музыка… Со всех концов, со всех щелей лезут декаденты… Помогите, святые угодники… Я избит, избит, как Дон‑Кихот пастухами… После Скрябина Вагнер превратился в грудного младенца со сладким лепетом… Куда бежать от такой музыки…

Вдоволь наговорившись и нахохотавшись, Лядов вытер глаза платком.

– Не понимаю, Анатолий Константинович, – сказал Аренский, – как ты согласился дирижировать таким вздором… Я пошел послушать только, чтоб посмеяться… И все это издается, поощряется, оплачивается… А ведь милейший Митрофан Петрович Беляев ни разу не подумал издать, например, Сережу Рахманинова… В то время, как беспрерывно издается скрябинский вздор.

Он посмотрел в сторону мрачно сидевшего Рахманинова.

– Нет, Антоний Степанович, – сказал Рахманинов, – Скрябин не вздор. Я и сам ранее думал, что Скрябин просто самоуверенный свинтус… А оказалось, композитор… Скрябин композитор, господа. Это музыкант Божьей милостью…

На ужине‑ассамблее противоположной партии были все те же малоизвестные и неизвестные, но уже примелькавшиеся лица. Сафонов говорил Леонтию Михайловичу и еще одному околомузыкальному деятелю Юлиану Сигизмундовичу:

– Скрябин не Шопен, он умнее Шопена. Это Рахманинова невозможно воспринимать вне орбиты Чайковского. Скрябин же личность самостоятельная.

– Но все‑таки что‑то вроде Шопена, – не сдавался Юлиан Сигизмундович.

– Что такое – вроде Шопена? – вскричал Сафонов. – Не вроде Шопена, а вроде Скрябина. Скрябин умнее Шопена, я сколько раз это говорил и говорю теперь… Удивляюсь я этому Сергею Ивановичу Танееву, учит вас всякой дребедени, наверное, нидерландцев‑то своих любимых всех переиграл… Зарылся в старье, а жизни новой не видит… Саша Скрябин большой, большой композитор, – сказал он после паузы, – большой пианист и большой композитор…

– Василий Ильич просто пристрастен к Скрябину, – сказал тихо Леонтий Михайлович, когда Сафонов отошел, – ученик его… Сам гений, жаль, не явился.

– Еще явится, – сказал Юлиан Сигизмундович, – он и во втором часу ночи может явиться… О нем Бог знает что говорят… Вы обратили внимание на его модные бачки и особенно на глубокую впадину на подбородке… Хе‑хе… С таким эротичным раздвоенным подбородком творческие музы обычно, хе‑хе… Миленькие, молоденькие… Жена и четверо детей уже не вдохновляют… Хе‑хе‑хе…

В третьем часу ночи явился Скрябин. Все, даже те, кто злословили, зааплодировали. Сафонов, нежно обняв Скрябина, сказал:

– Саша Скрябин ведь у нас непростой… Вы его побаивайтесь, он что‑то замышляет.

Скрябин имел зеленоватый, очень изнуренный, утомленный и потасканный вид.

– У Саши теперь шестеро детей, – сказал весело Сафонов, – три девочки, мальчик и две симфонии… К тому ж он у нас ницшеанец, увлекается сверхчеловечеством… Вот какие страсти…

– Гораздо труднее делать все то, что хочется, чем не делать того, что хочется, – туманно и как‑то рассеянно сказал Скрябин. – Я считаю, что делать то, что хочется, благороднее и предпочтительней.

– Вот я на Скрябина какой акростих написал, – улыбаясь, сказал Сафонов и прочел:

Силой творческого духа

К небесам вздымая всех,

Радость взора, сладость уха

Я для всех фонтан утех.

Бурной жизни треволненья

Испытав, как человек

Напоследок, без сомненья

Ъ‑монахом кончу век.

Все засмеялись, зааплодировали.

– Правда, Саша, хорошо, – смеялся Сафонов, – акростих… Из первых букв каждой строки составилась твоя фамилия… Я особенно дорожу этим Ъ‑монахом… А вот еще недурно – фонтан утех… А вы как находите, господа?

– А почему это вы Александра Николаевича в Ъ‑монахи записали? – смеясь, спросил Юлиан Сигизмундович. – Что общего у Скрябина с монастырем?

– А вот вы его не знаете, – сказал Сафонов, – Саша у нас святой человек… Жизни, правда, он не очень святой, но тем более вероятности, что станет Ъ‑монахом. Ведь иеромонахи всегда сначала нагрешат, а потом проходят курс святости… нет, это я так говорю, а на деле ведь Саша у нас очень любопытен… Вот вы с ним не говорили, а поговорите с ним не так, за ужином, а по‑настоящему – вот он вам на бобах‑то и разведет… Он ведь у нас ницшеанец и мистик.

– Что‑то вид у Александра Николаевича не мистический, – смеясь и грозя шутливо мизинцем, говорил Юлиан Сигизмундович.

– Вам нужно, чтоб уж все сразу было, – сказал Сафонов, – вот поступит в иеромонахи, и вид мистический будет. – И он с любовью поцеловал Скрябина в осунувшуюся щеку.

– Знаешь, Танюшка, – сказал Скрябин, – лучше мы с тобой будем заниматься опять в меблированных комнатах, а не у меня… Вере нужен рояль.

– Понимаю, – сказала Таня. – Не надо было мне вовсе являться к тебе в дом.

– Нет, – сказал Скрябин, – это было бы нехорошо… Я не мог тебя не пригласить как джентльмен… Иначе все наше знакомство имело бы вид заигрывания на стороне…

– Удивительно, Саша, – сказала Таня, – как ты мудр в творчестве и наивен в быту… Ты, Саша, в последнее время особенно нервен, но пытаешься скрыть… У тебя с Верой Ивановной давно уже нет психического контакта… Так за что же она меня ненавидит?..

– Ты не права, Танюка, – сказал Скрябин, – Вера благородная и честная женщина, она мой искренний друг… Но все должно разрешиться… надо ехать за границу, там все проще… У меня есть надежда достать денег. Маргарита Кирилловна Морозова, моя бывшая ученица, мне обещала денег… И тогда я оставлю проклятое профессорство в консерватории… Поеду с семьей в Швейцарию… И ты поедешь туда лечиться… У тебя ведь легкие слабенькие… А ты должна быть у меня здоровенькая, Танюка моя…

И в каком‑то проходном дворе, среди сугробов, они жадно начали целоваться.

Вера Ивановна и Маргарита Кирилловна Морозова сидели в плетеных креслах на увитом плющом каменном балкончике. Вера Ивановна устало говорила:

– Саша всего на неделю собирается в Париж, но это, пожалуй, надолго… Очень надолго… И все‑таки я хочу верить, что Саша ко мне когда‑нибудь вернется… Я знаю, это может случиться только в том случае, если не станет моей соперницы, слишком сильно и крепко она его держит и никогда не отпустит… Впрочем, ведь она его тоже очень любит, я знаю… Да и как не любить Сашу.

– Она его любит ради себя, – сказала Морозова, – а ты, Верочка, его любишь ради него… Жаль, что в бытии Александр Николаевич так слеп, а временами эгоистичен.

– Нет, нет, Маргарита Кирилловна, – сказала Вера Ивановна, – ко мне Саша по‑прежнему относится с большой любовью и нежностью, очень заботится обо мне и детях… А может быть, все к лучшему… Может быть, это даст толчок мне встряхнуться и сделаться самой человеком… Я ведь этот год играла и сделала порядочные успехи, так что даже Саша советует мне осенью выступать публично… Конечно, я играю только Сашины сочинения, и цель моя его прославить… Не знаю только, удастся ли мне это…

В верхней комнате у пианино сидела Вера Ивановна, а Скрябин стоял рядом и, слушая ее игру, говорил:

– Все должно жить… Пусть даже смазать в начале, но если закончить блестяще, получается впечатление чистоты, блеска… Как одно дыхание… Упоительность прежде всего… Шпоры, шпоры… Вот так лучше… Намного лучше…

– А ведь в Москве, Саша, – сказала Вера Ивановна, – я даже избегала играть при тебе… Да и ты предпочитал, чтобы я играла в твое отсутствие.

– Ничего, – сказал Скрябин, – мы уже за лето почти все с тобой наверстали… Я рад, очень рад, что мне удалось с тобой пройти все свои сочинения, кончая опусом 42… Ты теперь в искусстве самостоятельна… Ведь приятна самостоятельность… Ведь верно, Вушка, дорогой ты мой дружочек…

– Верно, Саша, – тихо сказала Вера Ивановна.

– Концерты в Париже так важны для меня, – говорил Скрябин, – для искусства я должен принести жертву… Я надеюсь показать там свою Четвертую сонату… Здесь впервые полная потеря телесного в музыке… Впервые мне удалось достичь...

Он сел рядом с Верой Ивановной и осторожно коснулся клавиш пальцами.

– ...призрачность, нежность, – говорил Скрябин, играя, – в Париже это оценят, это город Дебюсси… Намек… Поиски Ничто, из которого это сделано… Но у меня основной образ не легкость тумана, а звезда, мерцающая сквозь туманную прозрачность… То отдаляясь, то приближаясь… И в конце… Вызывает опьянение желанием, бесцельное стремление к бесконечной дали… Тут тема должна стремиться к оцепеневшим хрустальным звучностям…

Вера Ивановна с любовью смотрела на вдохновенное лицо Скрябина.

...На террасе кафе за отдельным столиком сидел Скрябин и что‑то быстро писал карандашом в толстую тетрадь в синей обложке. Кафе располагалось на берегу озера, слышны были крики чаек и плеск волн.

«Если мир мое творчество, – слышит Скрябин свой собственный задумчивый голос, – то как я создаю? Что значит, что я создаю? В данную минуту я сижу за столом и пишу. Время от времени я прекращаю эту работу и смотрю на озеро, которое прекрасно. Я любуюсь светом воды, игрой тонов, я гляжу на проходящих мимо людей, на одних почему‑то более внимательно, чем на других… Я хочу пить и спрашиваю себе лимонада, – фиксирует Скрябин свои отношения с гарсоном, – я смотрю, на часы и вспоминаю, что скоро время завтракать… Все это я сознаю. Если б я перестал сознавать все это, а сознание есть действие и труд, если б моя деятельность прекратилась, то исчезло бы все… Итак, я автор всего переживаемого, я – творец мира… Почему же этот созданный мною мир не таков, каким бы я хотел его иметь? Почему я недоволен и страдаю? Но, допустим, я создал мир, в котором мне ничего не остается желать, и в этом положении я буду находиться вечно… Можно ли представить себе это оцепенение в довольстве? Неужели все пытки инквизиции не лучше, не менее мучительны, чем это вечное ощущение довольства?»

Широкоплечий человек с грубым обветренным лицом подошел к Скрябину и, поцеловав ему руку, сказал:

– Отец Александр, все уже собрались.

– Ах, Отто, друг мой, – улыбнулся Скрябин и поцеловал его в лоб.

Они плыли по озеру в старой рыбачьей лодке. Отто сидел на веслах. Местность становилась все более бедна, исчезла красивая набережная, берег был скалистым, то тут, то там были рыбные сушильни и убогие домики рыбаков. На берегу стояла толпа людей с потемневшими от ветра лицами, с грубыми руками. В основном мужчины, но было и несколько женщин, также ширококостных и изнуренных физическим трудом. Одна из женщин даже держала на руках младенца.

– Друзья, – сказал Отто, поднимаясь в лодке, – отец Александр хочет сказать вам проповедь о том, как надо жить, и объяснить, зачем вы все живете на свете.

– Учение мое просто, – сказал Скрябин, также поднимаясь в лодке, – оно в двух словах: люби и борись… Люби жизнь всем своим существом и ты будешь всегда счастлив… Если ты некрасив и тебя гнетет это, борись и ты победишь эту болезнь. Старайся быть подобным мне и смотри на жизнь вообще, как на твою личную жизнь. Старайся быть всегда простым и искренним. Не бойся свободы. Подчиняйся законам времени и пространства, ибо это твои же законы…

Вдруг женщина с младенцем о чем‑то громко заговорила на латинском наречии, протягивая младенца.

– Что она хочет? – растерянно спросил у Отто Скрябин.

– Это итальянка, – сказал Отто, – прачка… Она просит, чтобы ты вылечил ее мальчика.

– Но я не знахарь, – растерянно и сердито сказал Скрябин, – и не чудотворец… Скажи ей, что я не знахарь и не шаман… Мое учение основано на всемирности и самоцели человеческой личности…

Отто начал объяснять итальянке, но та, не слушая, вошла в воду, все протягивая с мольбой плачущего младенца, и что‑то говорила.

– Она говорит, – перевел Отто, – мальчик простудился… Она берет мальчика с собой в прачечную, а там сыро и много крыс… Он заболел и ничего не ест.

Итальянка все шла, погружаясь в воду и подняв младенца над головой.

– Я не шаман, – растерянно говорил Скрябин, – ну, переведи же ей, Отто, может, ей денег, чтобы доктора или молока…

Он начал рыться в карманах.

Люди на берегу мрачно смотрели на жестикулирующего, растерянного проповедника. Скрябин вышел на берег и пошел по тонкой тропинке мимо бедных закопченных лачуг, перепрыгивая через лужи. Он шел с обнаженной головой, шляпа его висела на пуговице сюртука. Вдруг откуда ни возьмись высыпала ватага веселых чумазых ребят. Показывая на Скрябина пальцами и хохоча, они побежали за ним толпой, кривляясь. Полетели огрызки яблок. Отто, прихрамывая, выбежал из‑за лачуги и, схватив палку, погрозил ребятам. Те со смехом кинулись врассыпную. Скрябин шел, сгорбившись, наклонив голову.

– Дорогая Маргарита Кирилловна, – говорил Скрябин, идя об руку с Морозовой по одной из женевских улиц. – Вы, конечно, знаете, что на днях я еду в Париж… В Париже жизнь, праздник, искусство, а здесь скука и провинция. Сказать честно, швейцарцы меня разочаровали. Они слишком материальны и потому не восприимчивы к новым идеям… Итак, Париж… Но, разумеется, сколько трудностей и сколько опасений…

– Вы имеете в виду огласку ваших близких отношений с Марьей Васильевной? – сказала Морозова.

– И это тоже, – сказал Скрябин, – увлечение это мое было недолгим… Вера знает о нем, но мне бы не хотелось, чтобы о нем узнала Татьяна Федоровна… Она так ранима.

– А разве Вера Ивановна менее ранима? – спросила Морозова.

– Ах, Вера другое дело, – сказал Скрябин, – это мужественная, зрелая, сильная женщина… Она мой друг… А Татьяна Федоровна совсем другое… У меня с ней другие отношения… Вы ведь женщина, вы должны понять… К тому же я имел неосторожность рассказать о столь важном событии моей жизни Сафонову… Вам известно, что мы в разрыве?

– Да, он мне с сожалением о том говорил, – сказала Морозова.

– Он мне враг, – сказал Скрябин, – но вы, дорогая моя, сделайте все, чтобы не было грязных сплетен… вы сделаете это, да? Если бы это касалось меня, я бы не боялся… Но ради Татьяны Федоровны…

– Я сделаю все, что от меня зависит, – сказала Морозова.

– Вера вершит чудеса твердости и благоразумия, – сказал Скрябин. – Она сделает все, как я захочу.

Весь номер отеля был в цветах, цветы лежали на стульях, на столе, на рояле, а пол был уставлен цветочными корзинами. Скрябин во фраке, до предела воспаленный и светящийся от счастья, ходил по номеру и, всплескивая руками, говорил:

– Как дивно… Ах, как дивно… Париж покорен… Париж у ног… Ужин, блеск, поздравления русского посла… Меня любят, мной гордятся… Еще в среду я был в *Vesenaz* , а в воскресенье Париж, мы уже вместе… Со свиданием тебя, Танюка… Со скорым, безумным, радостным свиданием…

Татьяна Федоровна в белом платье, с белым цветком в темных волосах сидела в кресле совершенно усталая от своего счастья.

– Я знаю, – сказала она, – сейчас лучшие наши минуты, они никогда не повторятся, и оттого мне немного грустно.

Скрябин сел и взял ее руку в свои.

– Начинается новая эпоха, – сказал он, – эпоха Татьяны Шлёцер. – И я ознаменую ее новым порывом… Движением к высшей грандиозности, к вершине, к экстазу… Так и назову – «Поэма экстаза»… Все, что было у меня до этого – детский лепет… „Поэма экстаза“ должна кончаться морем радости, света и восторга, который затопит весь мир и остановит время.

Он снова вскочил и зашагал по комнате.

– Я уже давно, я уже в тысячный раз обдумываю план моего нового сочинения… Каждый раз мне кажется, что канва готова, вселенная объяснена с точки зрения свободного творчества, что я могу, наконец, стать богом играющим и свободно созидающим. А завтра, наверное, еще сомнения, еще вопросы! До сих пор все только схемы и схемы! Но иначе нельзя! Для того громадного здания, которое я хочу воздвигнуть, нужна совершенная гармония частей и прочный фундамент. Пока в моем мышлении не придет все в полную ясность, я не могу лететь. Но время это приближается, я чувствую. Милые мои крылышки, расправляйтесь!..

Он поднял голову и раскинул руки, как бы раскрыл объятия.

– Вы понесете меня с безумной быстротой! Вы дадите мне утолить сжигающую жажду жизни! О, как я хочу праздника! Я весь – желание, я – бесконечное! И праздник будет! Мы задохнемся, мы сгорим, а с нами сгорит вселенная в нашем блаженстве. Крылышки мои, будьте, вы мне нужны!

Он замолк, как бы задохнувшись от восторга, а потом, повернувшись к Татьяне Федоровне, крикнул:

– Пойдем, Таня… На улицы пойдем, на площади…

– Но уже поздно, – сказала Татьяна Федоровна, – ты устал, Саша…

– Я устал от тишины, – сказал Скрябин, – я хочу многолюдья… Пойдем в кафе, в ресторан… Я хочу там ухаживать за тобой…

Поздней ночью Скрябин и Татьяна Федоровна, усталые, шли по несколько уже притихшим парижским улицам.

– Дорогое мое, хорошее, – говорил Скрябин, – ты жалуешься, что не можешь найти новых слов любви и ласки, а я вот нахожу… Как тебя, я еще никого не ласкал.

Они вошли в отель, здесь консьержка подала Скрябину телеграмму.

– Конечно, из Швейцарии, – сказала Татьяна Федоровна, когда они вошли в номер и Скрябин распечатал телеграмму, – что же от тебя хотят и чего требуют?

Скрябин ответил не сразу, он сильно побледнел.

– Риммочка умерла от заворота кишок, – сказал он мертвым, каким‑то потусторонним голосом, – я сейчас должен взять билет в Швейцарию…

– Это неправда! – крикнула Татьяна Федоровна. – Ты убедишься… Она идет на все, чтобы тебя вернуть.

– Ты не знаешь Веру, – негромко, но настолько твердо сказал Скрябин, что Татьяна Федоровна моментально замолкла, – Вера мужественная честная женщина… Если б это было неправда, она б никогда… Это мне наказание… Я чувствую себя негодяем…

Маленькая процессия шла за катафалком, на котором стоял детский гробик. Скрябин рыдал так горько, не стесняясь окружающих, что Вера Ивановна в черном траурном платье, казалось, выполняет скорей долг мужа, поддерживающего безутешную мать. Вошли на зеленое швейцарское кладбище. Гробик поставили у могилы. Было какое‑то мгновенье, когда казалось – Скрябин хочет ринуться следом за своей любимицей. Лицо его почернело, он был неузнаваем.

Скрябин сидел в верхней полупустой комнате, опустив руки на колени. Перед ним на столике лежал чистый лист почтовой бумаги. Он сочинял ответ на лежащее здесь же распечатанное письмо Татьяны Федоровны:

«Твое письмо меня бесконечно огорчило, – слышал он свой голос, – есть много причин, по которым я должен остаться еще три дня в Везна. Во‑первых, в воскресенье Риммочке девятый день и потому в церкви будет отслужена панихида, на которой Вера умоляла меня быть, так как ей слишком тяжело после разлуки со мной, может быть, навсегда пережить такой печальный день одной. К тому же нужно помочь перевезти детей. Во время похорон Риммочки дети жили в Аньере, откуда их надо перевезти обратно в Везна. Насчет Веры не беспокойся, она человек сильный и большей мой друг. Она все понимает…»

Вечером Скрябин говорил Вере Ивановне:

– Мой дружочек, дорогая Вушенька… Я спокоен за тебя, ибо знаю тебя… Главное, занимайся, занимайся, не теряй ни минуты. Ты даже не представляешь, какие будут результаты.

– Я решила в августе ехать в Москву, – сказала Вера Ивановна. – Я уже написала письмо Сафонову с просьбой похлопотать мне место в консерватории.

– Ты правильно поступила, – сказал Скрябин, – уверен, все удастся… Я со своей стороны напишу, хоть с Сафоновым и в разрыве… Татьяна Федоровна передает тебе свои глубокие соболезнования…

– Очень мило, – сказала Вера Ивановна.

– Я возьму с собой немного фортепьянной бумаги, – сказал Скрябин, – если мне не хватит, вышли еще тетради две… Чтоб не более как на три франка… Хочу приняться за фортепианные вещи… Деток целуй от меня каждый день… Пока не уехала в Россию, ходи каждый день на кладбище и крести от меня Рушенькину могилку…

– Я хотела бы иногда видеться с тобой, Саша, – сказала Вера Ивановна.

– И чудесно, – сказал Скрябин, – мы будем встречаться… Ты приедешь к нам в Париж… Таня будет рада… Да и с Россией я порывать не намерен и буду там скорее, чем ты можешь предположить… Главное, Вуша, не бояться жизни… Ее радостей и печалей… Будь благоразумна, моя хорошая… – И, взяв лицо Веры Ивановны обеими руками, он по‑братски поцеловал бывшую жену свою в голову.

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Я жить хочу. В этом желании, в этом хотении

все, прошедшее и будущее. Этими словами, этим

хотением решена судьба вселенной.

*А. Скрябин. Записи*

По парижской улице шли Скрябин и Морозова.

– То, чему надлежало случиться давно, ‑ говорил Скрябин, – случилось теперь. Вы, конечно, порадуетесь за Веру и за меня. Я надеюсь, что наша жизнь войдет наконец в должную колею. Каждый из нас устроит себе существование, более гармонирующее с его склонностями. Расстались мы друзьями и находимся в переписке.

– Но на бедную Верочку обрушилось сразу все, – сказала Морозова, – ваш разрыв, смерть Риммочки.

– Нет, как раз наоборот, – сказал Скрябин, – девочку потерять было ужасно, но это несчастье отвлекло немного внимание Веры от другого... Я тоже за последнее время очень устал и нервы мои расстроились... А тут является в Париж Сафонов, начинает вести интриги против Татьяны Федоровны...

– Сафонов вас любит, – сказала Морозова, – он дорожит вашим творчеством.

– Если б он любил меня и дорожил мною, – горячо сказал Скрябин, – то он понял бы, что наконец со мной мой друг Татьяна Федоровна... Она так глубоко понимает, что нужно для моего творчества, с такой нежностью и самоотверженностью ухаживает за мной, создавая атмосферу, в которой я могу свободно дышать...

– Так ли это, Александр Николаевич? – сказала Морозова.

– Так, именно так. Я бесконечно сожалею, что вы не узнали ближе друг друга, это привело бы к взаимному уважению и глубокой симпатии... Работаю сейчас много и хорошо. Задумал нечто грандиозное... Но это пока будущее... Итог... Мистерия... Огромное сочинение... А пока делаю поэму для оркестра... «Поэма экстаза»... Она гораздо больше, чем Третья симфония, подготовит к восприятию духа Мистерии...

Несколько прохожих остановились, посмотрели вслед. Скрябин заметил, поморщился.

– Не люблю парижан, – сказал он. – Обыватели, чуть не в их духе, пальцами указывают.

– Это, очевидно, оттого, что вы не в шляпе, – улыбнулась Морозова.

– Париж мне надоел, – сказал Скрябин, – нужна тишина... Мы едем в Италию, в Вальяско... Очаровательная природа... Кстати, милая Маргарита Кирилловна, не будете ли вы так любезны избавить меня от хлопот по переводу и сопряженных с ними расходов. Передайте Вере при свидании шестьсот рублей, мне же переведите остальные четыреста.

Комнатка была маленькая, примитивно меблированная, с огромной неуклюжей кроватью, с лубочным изображением какого‑то святого на стене. Правда, из окна открывался чудесный вид на залив, однако сейчас был дождь, и залив был скрыт в тумане.

– Обожаю солнце, – говорил Скрябин, – в дождливые дни я, Танюка, как‑то увядаю... Тоска... И от Веры ничего... Она там с детьми, а газеты полны ужасов... Не знаю, доехала ли Маргарита Кирилловна.

– Ты беспокоишься о всех, – сказала Татьяна Федоровна, – а Маргарита Кирилловна не беспокоится о том, что гениальный русский композитор живет в тесных комнатках у самой линии железной дороги, так что весь дом сотрясается, о том, что мы с трудом взяли из кафе напрокат разбитое пианино.

– Но ведь в России беспорядки, – сказал Скрябин, – связь с Россией прервана...

– Морозова лишила тебя материальной поддержки гораздо ранее нынешних событий, – сказала Татьяна Федоровна, – это интриги Веры Ивановны и тех, кто вокруг нее.

– Танюка, нельзя быть такой сердитой, – сказал Скрябин.

– Милый Саша, – сказала Татьяна Федоровна, – ты очень скоро убедишься сам.

– Тасичек, – сказал Скрябин, подходя и обнимая Татьяну Федоровну, – не надо нытья... Ведь я бодрюсь, моя милая, стараюсь думать, что все будет хорошо... А если нет, ты все‑таки не разлюбишь? Ангел мой, какую ты мне силу даешь... Ведь мне, в сущности, все равно... Успешка‑то я хочу только для денежек, чтоб мой Тасинька сыт и пьян был! Кстати, одна моя бывшая ученица по Московской консерватории здесь... Приглашает нас в гости... Муж у нее, оказывается, социал‑демократ... Вот уж не думал... Познакомимся там с известным марксистом Плехановым... Очень любопытно...

За столом с кипящим самоваром и грудой баранок сидели рядом Плеханов и Скрябин. И Роза Марковна Плеханова, и Татьяна Федоровна, и хозяева – Ольга и Владимир Кобылянские – смотрели с интересом на встречу этих двух столь разных и в то же время столь близких людей.

– Кровь революции и зло царизма, – горячо говорил Скрябин, – только теперь я понял, чем навеяна моя музыка «Поэмы экстаза»...

Он подошел к роялю и сыграл кусок.

– Это героизм, это идеалы, за которые сейчас борется русский народ... Дорогой Георгий Валентинович, эпиграфом «Поэмы» я решил взять «Вставай, подымайся, рабочий народ!». Как это дивно...

– Я не играю ни на каком инструменте, – сказал Плеханов, – но музыку люблю... Особенно боевое, сильное, могучее в музыке... Ваша музыка, Александр Николаевич, близка сонатам Бетховена, Берлиозу, Вагнеру...

– Ну, это уже пройдено, – сказал Скрябин, словно бы обиженный, что его сравнивают с Бетховеном. – Искусство – это движение... У Бетховена и, особенно, у Берлиоза учиться ныне не приходится... В них нет идеи мессианства.

На лице Плеханова явилось неудовольствие.

– Всякое творчество, как и всякая деятельность человека, должно стремиться к объективной истине, – сказал он.

– Объективной истины нет, – вскричал Скрябин, – истина всегда субъективна... Истина нами творится... Истина творится творческой личностью, и она тем независимей, чем личность выше.

– От чего независимей? – спросил Плеханов. – От общества, от природы?

– Не только от общества, но и от мира, – сказал Скрябин. – Весь мир в нас... Ведь мы сотворили Солнце и Солнечную систему и постоянно продолжаем их творить... Когда мы перестанем их творить, их не станет.

– Александр Николаевич, – сказал Плеханов, – как это ни печально для вас, не природа живет в вас, а вы, подобно всем позвоночным и даже беспозвоночным, живете в природе... Таковы факты...

– Да, факты – опасный и не легко побеждаемый враг, – сказал Скрябин. – Это любимый афоризм Блаватской... Великой мессианской женщины‑пророчицы.

– Вот как, – сказал Плеханов, и его глаза остро полемически блеснули, – вот вы отрицаете истину... Но почему у вас, в вашем творении мира, так много понаделано разных, маленьких, плохеньких истин, вроде истеричного учения Блаватской... Почему отрицание истины у вас сочетается с предельным легковерием? Почему истины Блаватской вы объявляете своими, ведь они же не вами рождены?

– Жорж, – сказала Роза Марковна, – давайте пить чай.

– Я почти всему научился из своего творчества, – через него я проверяю все... И землю, и небо.

– Нет, милый Александр Николаевич, – сказал Плеханов, – напрасно вы обращаетесь к небу... Против вашего идеалистического индивидуализма не растет никакого зелья на небе... Печальный плод земной жизни, он исчезнет, лишь когда взаимные земные отношения не будут выражаться принципом «человек человеку волк»...

– Но мне всегда была отвратительна эксплуатация человека человеком, – сказал Скрябин. – Она противна моему миропониманию... Это нечто уродливое, негармоничное... Первая моя симфония имела эпиграфом «Придите, все народы мира...». Я за социализм... Но за социализм мессианский... История человечества есть история гениев... Историю творят гении.

– История творит гениев, – сказал Плеханов. – Гении – это люди, возвысившиеся до полного понимания хода исторического процесса, говоря словами Коммунистического манифеста...

Была солнечная погода, спокойное, ясное море, зеленые горы... Это был юг Италии в расцвете своем, декабрь мягкий и ласковый. Скрябин, Плеханов, Татьяна Федоровна и Роза Марковна совершали очередную совместную прогулку.

– Посмотрите на эти горы, – говорил Скрябин, – это не просто горы, это выражение чего‑то материального и неровного внутри нас. Вот уничтожьте эту неровность внутри себя, и гор не станет. Погода тоже есть результат внутреннего состояния человека.

– Какого же именно человека? – спросила Роза Марковна, – Ведь нас много... Я, Жорж, вы, Татьяна Федоровна...

– Это все равно, – сказал Скрябин, – потому что мы единая многогранная личность. И знаете, я пробовал как‑то вызвать погоду своим внутренним усилием... И у меня выходило... Вот вы смеетесь...

– Ну, тогда спасибо вам, Александр Николаевич.

– За что? – спросил Скрябин.

– Вы сегодня такую прекрасную погоду нам отпустили... Солнце, голубое море...

– В Париже Александр Николаевич пробовал вызвать грозу, и это ему удалось несколько раз, – сказала Татьяна Федоровна.

– Это трудно, но возможно, – подтвердил Скрябин. – Вообще, мы не знаем многих своих возможностей. Это дремлющие силы, и их надо вызвать к жизни.

Как раз в этот момент они ступили на мост, переброшенный через высохший, усеянный крупными камнями поток.

– Мы создаем мир нашим творческим духом, – сказал Скрябин, – своей волей... Я вот сейчас могу броситься с этого моста и не упасть головой на камни, а повиснуть в воздухе благодаря этой силе волн.

– Прыгайте, – сказал Плеханов.

– Что?

– Прыгайте, Александр Николаевич.

– Но ведь я говорю о тех, кто овладел своей волей, – сказал Скрябин, правда, несколько растерявшись. – Я все еще только на пути к этому.

– Не дай вам Бог дойти до конца, – улыбаясь, сказал Плеханов. – Вы знаете, Фихте даже свою жену воспринимал как творение собственного сознания... Как нечто воображаемое.

– Вот этого, Саша, тебе иногда уже удается достигнуть, – смеясь, сказала Татьяна Федоровна.

Они сидели на стеклянной веранде ресторана с видом на море. Скрябин говорил:

– Будущий век будет веком машин, электричества, материальных интересов, и это совпадет с торжеством социализма... Я целиком с этим согласен... Но разве это конечная цель? Это только переход. Конечная же цель – слияние всех в единый радостный порыв... Дематериализация... Ваша беда в том, что вы скрываете конечную цель.

– Но в диалектике нет конечной цели... Самой последней... История – это процесс.

– Это потому, что вы материалисты, – сказал Скрябин. – Что такое материя?.. Разве мы не знаем, что такое камень? Но марксизм меня привлекает как новое миросозерцание... Я считаю, что каждый мыслящий современный человек, каких бы взглядов он ни придерживался, должен проникнуть в него до конца... Я читаю Маркса, и у меня к вам, Георгий Валентинович, масса вопросов... Правда, Маркс слишком полемист... И все вы, марксисты, слишком полемисты... Написанные не в полемической форме, ваши произведения выиграли бы, дали бы больше читателю... Полемический азарт должен отвлечь неглубокого читателя от скуки...

– Однако мы с вами говорили, что жизнь есть борьба, – сказала Роза Марковна. – Как же без полемики...

– Да, борьба, – сказал Скрябин. – Знаете, я хочу дать концерт в пользу российского освободительного движения... В пользу политических эмигрантов... Пусть это будет моим вкладом в борьбу.

Зал Женевской консерватории был до отказа набит непривычной для него публикой. Было здесь много молодых лиц, студенческих тужурок. В артистической взволнованный Скрябин говорил Розе Марковне:

– Я, кажется, сегодня провалюсь... Болит правая рука... Я ведь, знаете, инвалид... Да и вообще... Как сборы? Я знаю, сборы гораздо хуже, чем вы надеялись.

– Да, сборы не очень хороши, – сказала Роза Марковна, – но это несущественно... Оставшиеся невыкупленные билеты мы распространили бесплатно среди неимущих эмигрантов.

– Что ж, – сказал Скрябин, – я ведь не иностранная знаменитость. Не какой‑нибудь Иоганн Тальберг... Меня не знают, особенно соотечественники. Но это неважно. А будет время, милая Роза Марковна, когда каждый, чтоб услышать одну паузу из моих творений, будет скакать с одного полюса на другой.

...Вальсы, этюды нежно, по‑скрябински лились в притихший зал. Ноктюрн для левой руки вызвал бурные аплодисменты...

Скрябин в легком пальто, но, по своему обыкновению, без шляпы, шел по крутой улочке Лозанны. Это опять была Швейцария, и все здесь было не по‑итальянски широко, размашисто, а чинно‑упорядоченно, так что человек, который время от времени останавливался и усмехался сам себе, заставлял прохожих оглядываться на него. Войдя во двор и осторожно, на цыпочках, поднявшись на второй этаж, он начал крадучись приближаться к Татьяне Федоровне, сидевшей к нему спиной. Наконец с веселым криком, перепрыгнув через стул, он бросился к ней.

– Вот и поймал, – хохоча говорил он. – Не смей, животное, чертов свин, читать мои рукописи, а иначе лучше бы тебе не родиться! В припадке ревности ты еще примешь рукопись за любовное письмо и уничтожишь.

– Саша, – сказала Татьяна Федоровна, – от Веры письмо... Она отказывает в разводе.

И Татьяна Федоровна протянула письмо. Скрябин взял и сел прямо в пальто, читая.

– Вот что, – сказал он. – Я напишу Морозовой, она на Веру подействует... Я попрошу, чтоб она объяснила Вере: для нее и для детей лучше иметь развод... Объясню, что это удовлетворит и самолюбие Веры, для нас же развод необходим... Ах, как утомила меня эта житейская суета... Про тебя же, бедная моя Танюка, и говорить не приходится.

– Саша, – сказала Татьяна Федоровна, – Морозова с Верой заодно... Она ведь фактически отказала тебе в материальной поддержке.

– Ничего, – сказал Скрябин, – скоро я должен получить Глинковскую премию... Не менее тысячи рублей...

– Которые уйдут на уплату долгов, – нервно сказала Татьяна Федоровна. – Мы задолжали лавке, акушерке, доктору и прочее... Даже твоему отцу мы задолжали пятьсот франков... А ведь надо заплатить за квартиру до конца года... Без малого еще двести франков.

– Но я был уверен, – растерянно сказал Скрябин, – Вера мой друг. Друг самоотверженный и бескорыстный.

– Не знаю, может ли отказ в разводе служить доказательством самоотверженности и бескорыстия, – сказала Татьяна Федоровна. – Ну, меня она ненавидит... Ненавидит давно, с того момента, как впервые увидела. Но в какое положение она ставит тебя перед всеми этими людишками, с которыми ты должен считаться... Вот, например, никто до сих пор не отдает нам визитов, в то время как приняли нас вначале любезно... Значит, дошли сплетни... Нас вместе не приглашают ни в одну русскую семью... Я здесь на правах твоей любовницы, а ты на правах человека развратного... Да, да, Саша, это так.

– Я все равно сделаю то, что задумал, – встав с кресла и расхаживая по комнате в пальто, говорил Скрябин, – и никакие дрязги или мелкие неприятности не помешают мне осуществить свой замысел. Жаль только тратить силы и время на борьбу с ничтожными... Но ничего, ничего, образуется... Кстати, ты меля огорошила, Танюка, и я забыл тебе сказать, что папа на днях приезжает к нам специально, чтоб с тобой познакомиться.

Отец и сын сидели в небольшом кафе. Александр Николаевич говорил:

– О Вере я уже давно не беспокоюсь, так как из ее последних писем да и из всего ее поведения я убедился в неспособности ее питать глубокое чувство к кому бы то пи было.

– Ну, а глубоко ли твое чувство к своей жене, – говорил Николай Александрович, – ведь Вера тебе жена.

– Мне жена Татьяна Федоровна, – сказал Александр Николаевич. – Вера сама знает, кто есть Татьяна Федоровна... Она сама не раз говорила, что мы с Татьяной Федоровной подходящая пара. Меж тем ныне Вера выказала по отношению к Татьяне Федоровне большую бессердечность и даже не спросила, осталась ли Таня жива после рождения девочки... Таня же, когда умерла Риммочка, написала письмо, полное горечи и сочувствия...

– Но каково ныне Вере с детьми одной, – сказал Николай Александрович. – Неужели ты не чувствуешь себя по отношению к ней непорядочным человеком?

– Я повторяю, – сердито сказал Александр Николаевич, – мне нечего тревожиться о Вере. У нее и без меня масса сочувствующих и утешающих... Меня беспокоит Таня... Слишком много она перенесла. Пора и ей отдохнуть, а мне – позаботиться о ней. А мстить Татьяне Федоровне Вере не за что... Вся вина Тани только в том, что она любит меня, как Вера и думать не могла любить...

– Эта женщина, Саша, дает тебе дурные советы, – сказал отец, – вероятно, ты по ее милости оказался в дурной компании врагов отечества... Ты сын русского дипломата, русский дворянин... Я разговаривал с твоими доброжелателями.

– Не знаю, с какими доброжелателями ты разговаривал, – сказал Скрябин. – Вероятно, ты ошибся, это были завистники, у меня их достаточно.

– Ты слишком долго живешь вне отечества, – сказал Николай Александрович. – Ты должен вернуться в Россию... Но только без этой женщины... Я готов помочь тебе материально.

Александр Николаевич встал:

– Да, я вернусь в Россию, – сказал он, – когда меня позовут... Я знаю, скоро меня позовут... Конечно, я вернусь не один... Но ты, мой отец, мало того что не уважаешь высокую личность Татьяны Федоровны, намекая на нее как на моего врага, дающего мне дурные советы... Ты восстанавливаешь свою семью против меня, вместо того чтобы научить ее почитать в моем лице русское искусство...

Он повернулся и пошел из кафе, оставив своего отца в задумчивости сидящим за кружкой пива.

Подошел гарсон, начал убирать посуду.

– Свершилось, – радостно говорил Скрябин, размахивая перед Татьяной Федоровной телеграммой. – Я знал, что явятся с поклоном и скажут: приди и володей... Меня приглашает для переговоров Кусевицкий... Это известный дирижер, известный контрабасист и известный совладелец фирмы по торговле чаем... Каково сочетание... Миллионер... Это деньги, Тася, это работа над Мистерией... Мы оба приглашены... Супруги Скрябины... Впервые мы приглашены в русский семейный дом...

В роскошных апартаментах дорогого отеля, среди золоченой мебели, мягко ступая, ходили лакеи, подавая дорогие кушанья. Чета Кусевицких – Сергей Александрович и Наталья Константиновна – сверкала бриллиантами, Татьяна Федоровна, сидя на атласном сидении и жуя омара, явно упивалась своим нынешним положением. Скрябин говорил:

– Я отброшу все, я буду работать только над Мистерией... Этой Мистерией мировое бытие окончится, но в этом нет ужаса, а праздник, исходящий из принципа Единства мира...

– Это, наверное, очень большое произведение, – сказал Кусевицкий, слушавший автора с некоторой уравновешенной торжественностью. – Этим произведением весьма приятно будет дирижировать, а затем издать... Ну, и сколько вам надо, как принято выражаться в литературных сферах, «фикс» в виде ежегодной суммы?

– Для осуществления общемировой Мистерии мне понадобится пять лет, – сказал Скрябин.

– Что ж, – улыбнулся Кусевицкий, – раз вы, дорогой Александр Николаевич, замышляете такие козни против буржуазного благополучия человечества, я буду вам платить в год пять тысяч рублей... В своем издательстве и в своих концертах я поставлю вас на место премьера... Вы будете у меня получать шаляпинские гонорары... Только вот что, если будете писать Рахманинову, то не сообщайте ему о наших условиях, во избежание разного рода разговоров со стороны композиторов.

– Я не переписываюсь с Рахманиновым, – сказал Скрябин.

– Тем лучше, – сказал Кусевицкий. – Думаю, что вопрос о вашем гонораре будет нашим частным делом... Итак, я завтра же телеграфирую, чтоб во всех московских и петербургских газетах сообщили: гениальный русский композитор Скрябин возвращается в Россию... Пророка ждут в своем отечестве.

И он сделал знак лакею, который откупорил бутылку шампанского.

#### \* \* \*

Я воспалю твое воображение таинственной прелестью моих обещаний. Я наряжу тебя в великолепие моих снов. Покрою небо твоих желаний сверкающими звездами моих творений.

А. Скрябин. Записи

В Большом зале консерватории стучали молотки. Множество мужиков и баб несли лестницы, щетки, тряпки, что‑то прибивали, что‑то вешали, прилаживали какие‑то гирлянды, устанавливали корзины, перекликались. В общем, была суета, как перед торжеством коронации. Посреди зала стоял сам Кусевицкий с пунцовым лицом, с провинциальными какими‑то усиками и распоряжался.

– Это что такое? – сердито говорил он подрядчику. – Мне надо, чтоб весь зал был декорирован растениями... Уплачено за весь зал... Это вам не обычный концерт, это празднество... Гирлянды вешайте сюда... Лавровые венки... Лавр... Ковер привезли? В авторской ложе мне нужен персидский ковер... А кресла... Что вы мне принесли, черт вас возьми?.. Для автора я велел установить трон... Да, именно трон, украшенный лавром... Седалище... На что я буду сажать гения... На таких креслах сидят обожравшиеся стерлядью купцы... Сто? Вам уплачено... Я вас научу... Мерзавцы!

Вечером пышно украшенный зал был подобен муравейнику. Многие были с партитурами в руках. Был ажиотаж и какое‑то воспаленное любопытство.

– Вам не кажется, Леонтии Михайлович, – сказал какой‑то господин с желчным, нездоровым лицом, – что со стороны мы все сейчас напоминаем массовку из известной картины Иванова «Явление Христа народу»?

– Оригинал Скрябин, – поддакнул лысый толстячок, – вечный оригинал.

– Что ж, – сказал Леонтий Михайлович, – действительно, оригинал... Знаете, я купил его клавир... Третья симфония, Прелюдии оратории 48... Это уже не Шопен, господа, это новый Скрябин, прежде неведомый.

– Э, милый, – сказал господин с желчным лицом, – да вы, я вижу, из Савла хотите стать Павлом... Из гонителя в апостолы... Нет уж, уважьте, в данном случае я предпочитаю остаться фарисеем.

– Скрябин, говорят, конец мира затеял, – хихикнул кто‑то. – Стал каким‑то священником или пророком новой религии.

– Да он рехнулся за границей, – добавила какая‑то дама. – Декадентский рекламист, который желает обратить на себя внимание.

– Одно название – «Поэма экстаза», – сказал господин, похожий на учителя гимназии. – Вы знаете, я слышал, что в Париже у Скрябина от новой жены родился не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка, – он засмеялся, – этого мистического монстра посадили в спирт и поместили в музей. Разве это не доказательство, что Скрябин дегенерат...

– Да, да, я слышала, что у Скрябина прогрессивный паралич, – сказала дама.

– А вдруг этот безумный и нелепый автор проектов о конце мира окажется глубоким и свежим композитором? – сказал Леонтий Михайлович.

– Вы, я вижу, готовы соблазниться, – сказал господин с желчным лицом, – и многие соблазнятся... Обратите внимание на этот зал, господа, сколько восторгов, сколько жажды новаторства любой ценой... Одна надежда на ретроградов... Вот идет Сергей Иванович Танеев...

Танеев шел своей бычачьей походкой с партитурой в руках. Его окружили.

– Ничего не могу сказать, господа, раньше, чем услышу в оркестре, – говорил Танеев. – Но вот насчет философии... Я прочел в «Русских ведомостях» статью некоего Бориса Шлёцера...

– Это брат новой жены, – подсказал кто‑то.

– Вычурный язык, – говорил Танеев, – какая‑то Психея... Какой‑то «дух играющий»... Это какое‑то шарлатанство, ерунда... К чему это писать всякую дребедень... Это поразительная беззастенчивость... Вот смотрите, шесть нот – и суть творческого духа раскрыта перед нами... Какое жалкое надо иметь представление о сущности творческого духа, чтоб его уместить в шести нотах...

Взбудораженные скрябиниане столпились у входа. Оркестр уже в сборе. Появляется Скрябин. Среди скрябиниан сильное движение, Скрябина обступают.

– Обратите внимание на апостолов, – говорит желчный господин, – доктор Богородский, господин Подгаецкий... А вон та маленькая брюнетка со злыми губами... Это сама «принцесса крови». А тот – сам пророк нового бога, Борис Шлёцер, брат принцессы.

Скрябин несколько ошарашен встречей.

– Физиономия у нового бога нервная, зеленоватая, – добавляет какой‑то господин, стоящий рядом с Леонтием Михайловичем, – усы лихие, офицерские... Вся музыка Скрябина в усах... Усатая музыка для испорченных, жаждущих разврата институток...

– Что‑то в нем звериное, – добавляет дама, – но не хищного зверя, а маленького зверька, суслика.

Однако голоса фарисеев заглушаются общим восторгом. Лысый толстячок, тот самый, что недавно еще стоял в кучке фарисеев, под влиянием большинства уже рядом со Скрябиным.

– Где вы были, дорогой Александр Николаевич? – говорит он.

Скрябин с извиняющимся лицом и выражением нервной напряженной скуки потирает привычным жестом свои руки.

– Мы были в Париже, Брюсселе, Лозанне...

– Ах, Брюссель, какой это чудный город, – вскричал некто в упоении.

Татьяна Федоровна держится настороженно и с преувеличенной строгостью. В свите старушка Любовь Александровна, тихая, восторженная, бесконечно преданная «Сане». Тут же дядюшка, седой генерал. Скрябин и Татьяна Федоровна, оба маленькие, с трудом пробирались к специальной ложе. Скрябин приближался к «седалищу» с лицом неприятно раздраженным. В тот момент, когда чета Скрябиных уселась, вышел на дирижерское место Кусевицкий, поднял палочку, и внезапно верхние карнизы зала осветились светящейся лентой из тысяч электрических лампочек. Скрябин от неожиданности чуть не подпрыгнул на своем «троне». По залу прошел ропот. Однако прозвучали первые аккорды «Поэмы экстаза». Музыка приковывала и ослепляла, но вид самого автора этих исступленных звуков не уступал в интересе. Скрябин во время исполнения был очень нервен, иногда вдруг привставал, подскакивал, потом садился, облик его в тот момент был очень юн, он был подвижен, как мальчишка, и что‑то детское было в его усатой физиономии. Иногда он как‑то странно замирал лицом, глаза его закрывались и вид выражал почти физиологическое наслаждение, он открывал веки, смотрел ввысь, как бы желая улететь, а в моменты напряжения музыки он дышал порывисто и нервно, иногда хватался обеими руками за украшенный лаврами «трон». Потом был гром аплодисментов, были приветствия оркестра, хлопавшего по пультам смычками. Зал превратился в митинг. Правда, были и раздраженные, злые лица, но их меньшинство. Толпа окружила Скрябина и Танеева.

– Ну, какое ваше впечатление, Сергей Иванович? – с улыбкой спрашивал Скрябин.

– Да какое мое впечатление, – красный как рак, говорил Танеев, – как будто меня палками избили, вот мое впечатление.

На Танеева набросились скрябиниане.

– Вы, Сергей Иванович, все время занимались контрапунктами, – кричал Подгаецкий, – вот у вас и притуплено восприятие к новым музыкальным произведениям.

– Нет, Саша, – не обращая внимания на реплику, говорил Танеев Скрябину. – Третья симфония лучше... Я даже где‑то там прослезился... Там чувство, а «Поэма экстаза» слишком криклива... Что же касается Пятой твоей сонаты, которую я слушал третьего дня, то, когда ты, Саша, кончил и сбежал с эстрады, то многие даже не поняли, в чем дело... Многие не поняли, кончилась ли она, или автор просто сбежал... Одна певица спросила меня: что такое, или у него живот схватило? – Он захохотал своим икающим смехом. – Пятая соната – это музыка, которая не оканчивается, а прекращается... Впрочем, Рахманинову правится...

– Ну вот, хоть Рахманинову, слава богу, нравится, – таинственно улыбаясь, сказал Скрябин.

В артистической комнате Скрябин и Кусевицкий обнялись и трижды поцеловались. Была овация. – Это величайшее произведение в музыке, – кричал Кусевицкий, – это черт знает что такое...

Скрябин тоже говорил комплименты, звучавшие, правда, несколько деланно.

– Да и ты, Сергей Александрович... Ты дал настоящий подъем.

– Изумительно, замечательно. – кричали вокруг.

– «Экстаз» становится специальностью Сергея Александровича, – сказала Татьяна Федоровна, – он превосходно дирижировал.

– А вопли музыкальных гиен, – крикнул Кусевицкий, – всей этой компании из партии Веры Ивановны... Плевать... Вот, – сказал он неожиданно, заметив среди публики в артистической Леонтия Михайловича, – вот единственный критик Москвы... Это единственный критик‑музыкант... Что все остальные, – сказал он патетически, – им музыка чужда, им искусство не нужно.

И он потряс в воздухе рукой со скрюченными пальцами, словно дирижируя.

Скрябин смотрел своими небольшими карими глазами на Леонтия Михайловича и вдруг сказал:

– Какие планы у меня, какие планы... Вы знаете, что у меня в «Прометее» будет, – он замялся, – свет...

– Какой свет? – удивленно спросил Леонтий Михайлович.

– Свет, – повторил Скрябин. – Я хочу, чтоб была симфония огней... Это поэма огня... Вся зала будет в переменных светах, в музыке будет огонь.

– При наших капиталах все возможно, – засмеялся Кусевицкий. – А теперь ужинать в «Метрополь».

К «Метрополю» ехали в нескольких больших автомобилях.

– А я правда люблю это праздничное настроение, – покачиваясь на сиденье рядом с Татьяной Федоровной и доктором Богородским, говорил Скрябин, – никогда не хочется домой, хочется продолжения праздника, хочется, чтоб празднество росло, ширилось, умножалось... Чтоб оно стало вечным, чтоб оно захватило мир... Это и есть моя Мистерия, когда этот праздник охватит все человечество...

В большом верхнем зале ресторана были сервированы длинные столы.

– Зачем только он этот верх засветил, – тихо говорил Скрябин Татьяне Федоровне и сидевшим с ним рядом «апостолам» – Богородскому и Подгаецкому, – как это пошло вышло.

– Ужасно, – соглашалась Татьяна Федоровна.

– И вообще, эта помпа – не то, что мне надо, – говорил Скрябин. – К чему эта ложа и эти сидения?.. Я и без того как автор достаточно выделяюсь над публикой... Правда, он не понимает... Но мне не хотелось его обижать, а то один момент я прямо думал взбеситься и вскочить из этих тронов и сесть на стул... Я ведь могу так...

– Ну конечно, Саша, – успокаивала его Татьяна Федоровна, – они это просто не поняли... Ведь у каждого же свои понятия... Они хотели получше сделать...

Подошел Кусевицкий и увел чету Скрябиных к себе за стол.

– Обратите внимание, – сказал доктор Богородский, – музыкантов нет... Сплошная буржуазия, родственники Кусевицких, Ушковы... Терпеть не могу...

– Это в вас, доктор, отставной марксист говорит, – усмехнулся Подгаецкий.

– В отношении буржуазии Маркс нрав, – сказал доктор Богородский. – Я разошелся с Марксом, когда понял, что его учение слишком бытовое, материальное... В нем нет порыва к небесам, нет поэтической мистики...

– Ах, оставьте, доктор, – сказал Подгаецкий, который к тому времени уже выпил, – я сам не терплю Кусевицкого... Он слишком удачлив... У него шесть миллионов... И, наконец, усики, как у парикмахера... Но что касается ваших разногласий с Марксом, то вы Марксу не можете простить, что из‑за его брошюры вас в пятом году били в участке... Ну, ну, – заметив негодующий жест доктора, сказал он, – ну не били, а так, нагайкой по спине... За поэтический же мистицизм пока еще в участке нагайкой по бьют.

Музыка заиграла туш. Кусевицкий встал и поднял бокал.

– За вдохновительницу «Поэмы экстаза»!

Старик Ушков, старый жуир, ныне поврежденный параличом, кричал:

– А вот он какой, экстаз‑то... Желтенький...

– Это он оттого, что я в желтом платье, – тихо сказала Татьяна Федоровна.

Начался шум, звон бокалов, официанты подносили все новые блюда.

– Вот такое празднество – это совсем не то, что надо, – говорил Скрябин доктору, – это даже как‑то раздражает, расхолаживает впечатление... Праздник должен все время нарастать... Ведь все эти люди ничего не понимают... Среди них Сергей Александрович – самая выдающаяся личность... А ведь он тоже мало, в сущности, понимает...

У закусочного столика с бутербродами Кусевицкий, улыбаясь, говорил Леонтию Михайловичу:

– Ведь это только Александр Николаевич думает, что что‑то необычное должно совершиться, что все захлебнутся от экстаза. А на самом деле, все мы и он сам пошли в ресторан и хорошо и приятно поужинали... Так и с Мистерией будет... Сыграем и потом поужинаем...

Глубокой ночью Скрябин, Татьяна Федоровна и Леонтий Михайлович ехали в автомобиле Кусевицкого. Скрябин, усталый, но радостный, говорил:

– Все‑таки Сергей Александрович великолепно передает многие моменты экстаза. Именно так и надо. Только зачем у него делается при этом такая красная физиономия? А это все очень милые люди – эти все Ушковы, только ведь это все terre‑a‑terre – это все очень примитивно... Я ведь когда‑то так близко знал этот мир.

Пригнувшись, по винтовой лестнице, куда‑то выше хоров колонного зала Благородного собрания, поднимались Скрябин, Кусевицкий, Леонтий Михайлович, Татьяна Федоровна и человек технического вида в кожаной кепке.

– Вот здесь, – говорил человек в кожаной кепке, – это прожектора и прочее... Световая техника... Кабель...

– В кульминационном пункте мне нужен свет, чтоб глазам было больно, – сказал Скрябин.

– Да, я считаю, что «Прометей» надо ставить со светом, – сказал Кусевицкий, – надо подготовить смету, согласно световой партитуре...

– Но что вы хотите, чтобы у вас было в этой симфонии? – спросил Леонтий Михайлович. – Зал, что ли, должен быть освещен?

– Да, свет должен наполнять зал, – сказал Скрябин таким топом, точно речь шла об обыденных, и простых вещах. – Я не знаю технической стороны дела, по мне тут помогут... Вот Александр Эдмундович Мозер очень этим заинтересовался.

И он кивнул в сторону человека в кожаной кепке.

– Свет должен наполнять весь воздух и пронизать его до атома, – после паузы продолжал Скрябин, – вся музыка и все вообще должно быть погружено в этот свет, в световые волны, купаться в них.

– Надо попытаться подвесить рефлекторы к потолку, – сказал Мозер, – чтобы они давали рассеянный свет по всей зале, а источник света чтоб оставался не виден. Но выдержит ли кабель такое напряжение?

– Можно также сцену с облачными занавесями и декорациями, – сказал Леонтий Михайлович.

– Ни в коем случае, – сказал Скрябин, – именно зал должен быть наполнен светящейся материей... А в кульминации белый свет...

– Почему именно белый? – спросил Леонтий Михайлович.

– Когда свет усиливается до ослепительности, то все цвета обращаются в белый... Мне солнце тут надо! – воскликнул он. – Свет такой, как будто несколько солнц сразу засияло... Белый свет – это свет экстаза...

– Но выдержит ли кабель? – снова материалистически повторил Мозер.

– Да, – спускаясь вниз но лестнице, говорил Скрябин, – все упирается в материю... Материя всему препятствие... А ведь «Прометей» не просто музыка... Такого еще не было... Я хочу, чтоб хор в «Прометее» был не просто хор... Я хочу, чтоб уж нечто от Мистерии... Надо бы хор одеть в белые одежды... Так это плохо, так ужасно, как у нас... Неужели опять это Русское хоровое общество будет... Какое полное отсутствие понимания... Ведь они поют совсем не так, как мне надо... Мне надо такой звук истомленный, мистический, вот в этом месте, где вступает хор... Они должны вот так петь... Он принял какую‑то странную позу, запрокинулся назад и запел неумело и безголосо.

– Саша, – поморщившись, сказала Татьяна Федоровна.

– У меня нет вокальных данных, но, в принципе, в таком надо направлении... А они поют, ревут всегда, точно коровы, вовсю... – сказал Скрябин и обратился к Кусевицкому: – Сергей Александрович, надо бы их одеть в одинаковые платья... Да и оркестр тоже имеет у нас ужасный вид... В самой позе музыканта в оркестре так много от ремесленности... Никакого подъема нет, праздничности... Со временем я настою, чтоб мои вещи играли без нот... Собственно, оркестр должен быть в постоянном движении... Ему не пристало сидеть... Он должен танцевать... Должно быть соответствие с музыкой и в этом... Конечно, бетховенские симфонии, или Чайковского, или Рахманинова можно играть и сидя, и даже лежа.

Он засмеялся.

Спустились вниз, прошли пустой зал, вышли на улицу.

– Танеев болен, – сказал Леонтий Михайлович, когда они со Скрябиным несколько опередили остальную группу.

– Надо бы посетить Сергея Ивановича, – сказал Скрябин. Это ничего, что он сейчас ругается... Когда‑то меня к нему привели кадетиком, мальчишкой, и он напророчил мне великое будущее. Завтра же пойдем... Пойдемте вместе... Не так страшно будет...

Скрябин и Леонтий Михайлович шли по московским переулкам среди домиков с геранью на окнах, среди абсолютно деревенского лая собак со дворов.

– А как вы думаете, – говорил Скрябин, – Сергей Александрович справится с «Прометеем»? По‑моему, он в нем еще ничего не понимает. Меня очень удивляет, как он быстро схватывает. Ведь он очень музыкальный, и это позволяет ему как‑то проникнуть в мои замыслы, хотя он и не очень образован как музыкант. Вот, например, в «Экстазе», вот эти томления, они у него прекрасно выходят, и я ему показал и жесты при этом, вот такие истомленные...

Скрябин несколько раз взмахнул руками. Они вошли во двор, заросший кустами сирени. Ленивый барбос тявкнул на них несколько раз.

– Сергей Иванович любит жить в таких домиках, – сказал Леонтий Михайлович, – и чтоб непременно не было ни электричества, ни водопровода, ни отопления.

На дверях висела табличка: «Сергея Ивановича дома нет».

– Это не для нас, а для людей вообще, – сказал Леонтий Михайлович.

Танеев встретил их в передней, массивный, огромный, с перевязанным горлом. Не заметив вначале Скрябина, обняв Леонтия Михайловича, он сказал вместо приветствия, печально:

– Мутные волны текут в музыке... Грязь, всюду грязь... Какая‑то равель пошла...

Он засмеялся и заметил тут Скрябина.

– Ах, это вы, – сказал он, – вот уж не ожидал... Ну, здравствуйте...

Танеев и Скрябин долго стояли друг перед другом, многократно кланяясь и, видимо, испытывая неловкость. Наконец Танеев прервал молчание:

– А знаете, Александр Николаевич, я ведь вашей музыки не люблю...

– Знаю, Сергей Иванович, – покорно и смиренно отвечал Скрябин, потирая свои руки привычным жестом.

– Да нет, я не то что не люблю, я не выношу вашей музыки, – сказал Танеев.

– Да, знаю, знаю, Сергей Иванович, вы не любите и не выносите, – сказал Скрябин.

– Да не то что не выношу, а меня просто тошнит от нее, – сказал Танеев.

– Ну послушайте, Сергей Иванович, – сказал Скрябин, – это не очень любезно... Пригласите нас хотя бы в комнату...

– Да, да, проходите, милости просим. Я ведь попытался изучать вашу музыку и пришел в полное отчаяние... Представляю, каково бы было Петру Ильичу Чайковскому...

– Да, Чайковскому было бы не сладко.

– Расскажите‑ка, Александр Николаевич, как это вы там конец мира приготовляете, – это очень любопытно, – угощая какими‑то конфетками, говорил Танеев.

– Что ж вам говорить, – сказал Скрябин, – ведь вы никогда не согласитесь со мной.

– Я надеюсь, – засмеялся Танеев, и в обычно добрых глазах его явилось что‑то недоброжелательное, – я еще с ума не сошел... А как это у вас с бенгальскими огнями симфония будет?

Скрябин беспокойно задвигался на стуле.

– Это мне напоминает в провинции одного скрипача, он играл, а ему в физиономию какой‑то луч фиолетовый пускали. – И Танеев захохотал своим икающим смехом. – Все‑таки, как же это от вашей музыки конец света наступит? А если кто не хочет конца света, как быть?.. Застраховаться надо где‑нибудь... Я вот совсем не хочу, чтобы был конец света.

– Для вас его и не будет, – таинственно отвечал Скрябин.

– Ничего не понимаю... Это морочение какое‑то, досадливо сказал Танеев. – Ну а что же, Кусевицкий вам выстроил этот световой инструмент?

– Нет, – ответил Скрябин, – наверное, в первом исполнении света не будет... Инструмент оказался очень дорог.

– Значит, конец свету, – оглушительно захохотал Танеев и заходил по комнате.

Вошла нянька Танеева, старушка, и внесла тарелку с пирогами. Скрябин взял один, вяло надкусил. Он выглядел скисшим.

– Человек должен все испытать, чтобы все преодолеть, – сказал он. – Помню, лет восемнадцати с братом вашим Владимиром Ивановичем о религии заговорил... А он мне отвечает так злобно‑иронически: «Да вы, никак, в Бога верите»... Махнул рукой и пошел от меня.

– Ну, брат мой человек хороший, – сказал Танеев, – но радикал и нигилист... Одно время с немецким философом Карлом Марксом переписывался... И меня даже, консерватора, к чтению этого немецкого философа приобщил.

– А вот и есть, значит, у нас общее, – сказал Скрябин, – я тоже Маркса читал... очень любопытно... тут не нигилизм как раз... не отрицание... тут новаторство... Но, разумеется, в пределах материализма.

Скрябин и Леонтий Михайлович вышли на улицу.

– Как он далек от всего этого, – задумчиво сказал Скрябин, – для него все тут, в этой реальности, в этой материи, в отсутствии полета, вот в этом plan physique... И он не понимает, что этим он отрицает собственное искусство... Я тоже отрицаю свое собственное искусство, но я отрицаю его через конечное, предельное убеждение, сознательное... А ведь какой он человек хороший... Жаль его, жаль...

И Скрябин снова улыбнулся своей странной улыбкой.

Квартира Скрябина была велика и просторна, но вид ее был, скорей, буржуазный, бюргерский, чем художника с такой оригинальной психикой. Там были декадентские стульчики рыжего дерева, неудобная гостиная мебель, какая‑то пышная картина воинственного древнего содержания в золоченой раме, странная икона, фарфоровая скульптура китайца... За длинным столом происходил прием близких, родственников и «апостолов». Сейчас основные «апостолы» были в сборе. Здесь были доктор Богородский, Подгаецкий, Мозер, Леонтий Михайлович. Были здесь и сам Скрябин, Татьяна Федоровна и Марья Александровна – мать Татьяны Федоровны, пожилая француженка. Были и дети, другие дети, Юлиан – ласковый и застенчивый мальчик и Ариадна – красивая девочка с раздвоенным, как у отца, подбородком, но чем‑то похожая на мать. Все смотрели, как мастер но указанию Мозера прилаживает к потолку какой‑то странный разноцветный предмет. Включили свет, и девять лампочек, оклеенных цветными бумажками, засветились. Захлопали в ладоши дети, и сам Скрябин, тоже радуясь по‑детски, бросился к роялю...

– Леонтий Михайлович, – сказал Скрябин, вы вместе с Александром Эдмундовичем садитесь за световую клавиатуру... Начальный аккорд «Прометея» – таинственный лиловый сумрак... Из розового и синего... Тема разума  – синий цвет...

Он обрадованно засмеялся, когда при аккордах темы разума потолок и все вокруг осветилось синим светом.

– Вот то‑то оно, – говорил он лукаво, с мастерством передавая сдавленные звуки закрытых труб на фортепиано, – правда, бедовые гармонии?

– А потом подъем, больше, больше... А‑а‑а, – издавал он задыхающиеся звуки. – Если вы любите Индию, вам это должно нравиться... Тут мерцающие звуковые прикосновения... Это как звуковые поцелуи... Но лучше всего здесь жесткие гармонии... Медь, медь... Здесь социализм всемирный, полная материализация... тут не то набат, не то наковальня гигантов... Это полная материализация... Тут полное отпечатление творящего духа на материи... Вот он, Прометей, – говорил он, озаренный красным светом из‑под потолка, – все материализовано, все самое реальное... И тут красный свет самый реальный, материалистический свет... Красный... Багрово‑красный...

Потом пили чай с сушками. Разливала Татьяна Федоровна. Скрябин сидел традиционно против нее в кресле‑стуле.

– Сашь, сказала, – показываясь в дверях Марья Александровна, – пора делать отцовское благословение.

Скрябин встал и пошел в детскую. Ариадна и Юлиан уже лежали в кроватках. Тут же был и третий младенец. Скрябин обошел, целуя их и крестя на ночь, потом вышел, но в конце коридора уже пошел вприпрыжку, а войдя в гостиную, начал делать легкие антраша и весело говорил:

– Ну, теперь я свободен... Наконец я свободен. Надо бы закусить... Тася, дай нам ветчины, сыру, хлеба... И пиво... А почему обычное пиво... Я ведь просил пиво Шитта...

– В лавке не было сегодня Шитта,– оправдывалась Татьяна Федоровна.

– Жаль одно,– сказал доктор, наливая себе обычного пива, – за пивом Шитта особенно приятно мечтать о «Мистерии» Александра Николаевича... Сегодня чудесные условия для разговора о «Мистерии», нет только Гольденвейзера.

Он желчно засмеялся.

– Верно, – сказал Подгаецкий, – как можно говорить о «Мистерии» Александра Николаевича при толстовце?

– Да, да. Толстой – это тип рационалиста в религии... Эго сплошной скандал и дилетантство... – сердился уже Скрябин. – В нем нет никакой мистики, он не понимает даже, что такое мистика.

– Толстой ужасный лицемер, – поддакнула Татьяна Федоровна. – В нем все фальшиво от начала до конца.

– Абсолютно, – сказал Подгаецкий. – По‑моему, это такой же символ враждебного мира, как Чайковский, Рахманинов или Танеев.

– Толстой, – говорил Скрябин, – имеет как будто огромную склонность быть праведником, но никакой к тому способности. Это, так сказать, бездарный праведник... Чехов просто скучен, а Толстой к тому же и в праведники рвется.

– Толстой совершенно бездарный, – как испорченное усиленное эхо, отозвался Подгаецкий, жуя ветчину.

– А ведь знаете, это большие способности, – говорил Скрябин, – все равно, как к композиции. Есть люди, способные к праведности, а есть бездарности, и с ними что ни делать, ничего у них не выходит. Толстой по природе страшно злой, а хочет быть добрым. Злость же кипит в каждом его слове.

– А вот Александр Николаевич наоборот, – сказала Татьяна Федоровна, хочет быть иногда злым, а все выходит у него по‑доброму. Хочет сатанизма, а получается праведность.

– Вот я уж вовсе не такой добрый, – вдруг запротестовал Скрябин. – Я тоже бедовый, не меньше Толстого...

– Странно, – желчно сказал доктор, – что Кусевицкий до сих нор не стал толстовцем... Для этого все данные... Миллионы есть и лицемерия хватает.

– Вы знаете, – после раздумия сказал Скрябин, – возможно, доктор прав... А эта история с Волгой... Это ведь довольно любопытно.

– Расскажи, Саша, – сказала Татьяна Федоровна, пусть знают, тут ведь друзья.

– Во время наших гастролей по Волге, – сказал Скрябин, – я спросил, сколько он мне заплатит. Тот вначале уклонился, потом говорит: «Мало, Саша, мало, мне совестно сказать, сколько...»

– Ну, чем не толстовец, – сказал Подгаецкий.

– Дотянул до конца и заплатил тысячу, – сказал Скрябин. – Ведь это уже скандал. Ведь когда я учеником был, больше получал.

– А мне кажется, – сказал доктор, – что чистое имя Скрябина не должно быть рядом с тем, кто женился на миллионах... Кусевицкий заслонил от нас Скрябина, но мы его отвоюем.

– Я и сам не пойму, – сказал Скрябин, – может ли человек с таким лицом, как у Сергея Александровича, понимать музыку? Он материальный, здешний... А все‑таки у него выходит многое мое... Он удивительно переменчив – это, знаете, такое обезьянье качество.

– И вот еще что, – сказал доктор, – уж «Прометея» хотя бы надо отпраздновать торжественно и достойно... Надо уговорить этого, чтоб не у него в доме... чтобы попросту, по‑товарищески, в кабачке, одним словом... А то тут Кусевицкий... Дом с этими бульдогами... Я вообще не выношу собачьего лая... Ну их к черту...

– Я согласна с Владимиром Васильевичем, – сказала Татьяна Федоровна.

– Да, да, сказал Скрябин, у меня много друзей, которым неловко идти к Кусевицкому. Они его терпеть не могут, и он их тоже... А без них мне бы не хотелось... Я завтра на репетиции поговорю с Сергеем Александровичем.

Уже светало. Все общество давно перебралось из гостиной в кабинет. Скрябин говорил, сидя в качалке:

– Вы знаете, у меня в «Прометее» такие медленные темпы, как никогда ни у кого не было... Они должны длиться, как вечность, – он посмотрел загадочно, – потому что ведь вечность должна пройти от момента томления до материализации... Вам не кажемся, что музыка заколдовывает время, может вовсе остановить его?.. Но у меня в конце будут такие быстрые темпы... Это как бы последний танец перед актом... Когда задыхаешься не то от избытка блаженства, не то от стремительного полета... Полет... Да и вообще, – Скрябин резко встал, – как все это надоело... Писание сонат, симфонии, концертирование... Пора! – почти вскричал он. – Только Мистерия... Но как ужасно велика работа, как она ужасно велика...

– Он мне напоминает сейчас Иисуса в Гефсиманском саду, – тихо сказал Леонтий Михайлович Мозеру. – Человек во власти могучей идеи, осознавший вдруг слабость сил своих.

– Только чудо мне поможет, – сказал Скрябин. – У меня колокола с неба должны звучать... Это будет призывный звон... Все народы двинутся в Индию, туда, где была колыбель человечества... Ведь Мистерия есть воспоминание... Всякий участник должен вспомнить, что он пережил с момента сотворения мира...

В темной передней Скрябин, стараясь не шуметь, чтоб не разбудить спящих, провожал всю группу, сам запер дверь.

Вышли табунком и пошли по пустынным рассветным московским улицам. Долго шли молча. На перекрестке, когда надо было расходиться, Леонтий Михайлович вдруг сказал:

– Господа, чем все это кончится... Куда он идет? Мы искренние друзья его, как мы можем смотреть на столь угрожающее развитие его мысли... Узел его мысли затягивается все туже. Назад пути нет. Он слишком верит в свое мессианство.

– Мне надоело ваше неверие, –  сердито сказал доктор и, сухо поклонившись, пошел к стоянке ночных извозчиков.

В мрачном Колонном зале шла репетиция «Прометея». Призрачный дневной свет проникал из полузакрытых окон, и люстры у оркестра были зажжены слабо, по‑дневному. Скрябин был сам на эстраде, играл фортепианную партию. Прозвучал знаменитый первый аккорд. Рахманинов, который сидел в зале, подошел к Скрябину и удивленно спросил:

– Как это у тебя звучит? Ведь совсем просто оркестровано.

– Да ты на самую гармонию‑то клади что‑нибудь, отвечал Скрябин, – тут звучит не мелодия, а гармония.

– Первый аккорд гениален, – говорил Рахманинов кому‑то из присутствующих в зале музыкальных критиков, – настоящий голос хаоса, из недр родившийся единый звук... Но дальше уже не то, схематичней... Как жаль.

– А исполнение Скрябина слабое, – сказал критик. – Совсем не титаническая звучность... И эти звуки, им извлекаемые, наряду с громами оркестра, как‑то жалостны.

– Но в тихих моментах прекрасно, – сказал Рахманинов, – в звуковых ласканиях... Кульминация действительно смутно звучит, хоть и грандиозно... лучик всего первый аккорд... Аккорд хаоса... Он вне человеческих возможностей.

После репетиции Скрябин, Татьяна Федоровна, Леонтии Михайлович и доктор Богородский сидели в кабинете Кусевицкого с электрическими лампами в форме баклажанов, с бюстом Наталии Константиновны и с картинами Врубеля на стенах. Лакеи подавали напитки и сласти. Тут же было несколько больших бульдогов, на которых с опаской косился доктор. Кусевицкий, плавно жестикулируя, говорил с пафосом, обращаясь к Скрябину:

– Клянусь тебе, что все твои друзья мои друзья. Разве есть кто‑нибудь, кто тебя понимает и мне не друг? Кого ты хочешь – пригласи, кого не хочешь – откажем... А тут гораздо уютнее, у себя...

Доктор взял Леонтия Михайловича под руку и увел его в большую гостиную, где мебель была со львиными мордами, и черные переплеты в потолке придавали этой зале суровый вид.

– К черту, – горячился доктор, – ну их, с их гостеприимством... Ведь это зеленая тоска будет, мухи подохнут... И он с этой... Надуются, как петухи индейские, слова не вымолвишь... А как те, кто не захочет... Как же Скрябин в такой день без друзей... Да скажите ему прямо, вы человек независимый, пойдем в кабак, а то от Ушковых не продохнешь... Ведь это все придут с набитыми карманами, буржуазия. Какое они имеют отношение к Скрябину... Да и сам Кусевицкий со своими миллионами...

– Я с вами согласен, доктор, – сказал Леонтий Михайлович. – Отпраздновать бы действительно неплохо на нейтральной почве... Но вот увидите, Кусевицкий Скрябина убедит.

И действительно, когда доктор и Леонтий Михайлович вошли в кабинет, там все уже было решено.

– Что ж, отпразднуем здесь, – говорил Скрябин. – Сергей Александрович обещал, что все будут приглашены... Так и быть.

– Ах, Александр Николаевич, – говорил Кусевицкий, – мы еще такое развернем... Создадим издательство европейского масштаба, организуем собственный оркестр... В провинцию российскую музыку повезем... Построим дворец искусств... Чтоб не только там залы, но и картинные галереи... И чтоб все это было общедоступно для бедного народа...

– Это мой бюст, – говорила Наталья Константиновна, – работы Голубкиной... Голубкина дает мне уроки скульптуры.

Лицо доктора выражало отчаяние.

Когда отзвучали последние аккорды «Прометея», часть публики бешено аплодировала, часть шикала. Сторонники толпой бросились к эстраде, крича: «Прометей, бис! Скрябина!.. Кусевицкого!..»

Но ни Скрябин, ни Кусевицкий не явились. Они в то время были в маленькой артистической комнате, и между ними происходил разрыв.

– Но ведь ты обещал, – говорил Скрябин, – ты ведь обещал, что всех друзей на ужин пригласишь.

– Я не знал, что господин Подгаецкий распространяет обо мне гнусные сплетни, – кричал Кусевицкий. – И потом, он вообще не правится Наталье Константиновне.

Скрябин некоторое время стоял, словно пораженный, а потом с яростью накинулся на Кусевицкого.

– С кем ты так говоришь! – кричал он. – Кто ты и кто я... Я не поеду к тебе вовсе, и ни один из моих друзей не поедет! Ты всего‑навсего меценат, а у мецената никаких заслуг, он просто выполняет свой долг... Я не позволю... Я даже покойному другу своему Митрофану не позволял.

Он заходил по комнате.

– Твой Митрофан попрекал тебя каждой копейкой, – сказал Кусевицкий.

– Беляев святой человек, – крикнул Скрябин, – а ты нагло обсчитал меня во время гастролей по Волге... Всучил мне за все выступления тысячу рублей.

Кусевицкий был торжественен и важен, но лицо его еще сильней покраснело, стало пунцовым.

– У меня нет лишних средств, – сказал он. – Я не могу тратить деньги.

– А разве я хуже играть стал? – сердито говорил Скрябин.

– Что ж, – сказал Кусевицкий. – Если ты так считаешься, я могу пригласить другого пианиста, он сыграет мне это за двести рублей.

– Да что у тебя, лавочка? – яростно крикнул Скрябин.

– Не забывай, как много я для тебя сделал.

– Ты и тебе подобные счастливы должны быть, когда им приходится иметь дело с такими артистами, как я. И не то еще выносить, – сказал Скрябин. – Людовик Баварский не то еще выносил от Вагнера. Тот даже колбаской в него пускал.

– Но ведь Людовик‑то был король, а я тоже артист, – крикнул наконец, не выдержав твердой торжественной маски, Кусевицкий, – я тоже музыкант... Хочешь ты или не хочешь но тебе придется поделить со мной мир пополам.

– Возьми весь, – сказал Скрябин, – если он за тобой пойдет...

Кусевицкий вышел из артистической, Скрябин, тяжело дыша, сел за столик рядом с мрачной, темнее ночи, Татьяной Федоровной.

– Ну, вот это разрыв, – сказал он. – Вот доктор‑то рад будет.

Было пышное зеленое лето под Каширой. Скрябин в английском костюме шел рядом с одетой так же по‑городскому, в туфлях на французских высоких каблуках Татьяной Федоровной, сторонясь с испугом табуна лошадей. Когда табун прошел, Скрябин увидел Леонтия Михайловича и Мозера, одетых по‑дачному. Обнялись.

– А мы только с поезда, – говорил Мозер, – местность чудная... Но почему вы гуляете в этом заплеванном парке? Пойдемте в рощу, пойдемте осматривать окрестности.

– Да, да, это верно, – сказал Скрябин, – здесь гоняют лошадей на водопой, вся трава вытоптана.

Под вечер зашли в березовую рощу с ясными лужайками.

– А тут очень хорошо. Знаете, иногда можно почувствовать в себе такое слияние от отождествления с природой. Вот в таком лесочке должны водиться нимфы, – сказал Скрябин несколько литературно. – Тася, какая чудная трава... Вот здесь... Надо постелить плед... Трава прекрасна, но садиться на нее негигиенично... Потом всякие букашки, которые заползают и кусаются.

В это время вдали прогремел гром. Скрябин испуганно переглянулся с Татьяной Федоровной.

– Тася, не пойти ли домой... Кажется, гроза будет... Как вы думаете, обернулся он к Мозеру, – вы, физик и химик... Мы успеем домой до грозы?

– Неужели вы, – улыбнулся Леонтий Михайлович, Прометей, ниспровергатель миров, боитесь грозы?

В этот момент раздался сильный удар грома, хоть гроза явно шла стороной и глянуло опять солнце. Скрябин вздрогнул, но, овладев собой, довольно натянуто сказал:

– Напротив, я очень люблю картину грозы, но природа меня страшно утомляет, отнимает много сил, рассеивает внимание. Ведь правда, Тася? Все животные и растения ведь отражение нашей психики... Смотрите вот на птиц... Я чувствую тождество птице моими окрыленными ласками... А есть терзающие ласки... Это звери... Есть тигровые ласки... Можно ласкать, как гиена или волк... А змеи – это ведь целая поэма ласк, сама ласка, отраженная во внешнем мире, дает змею... Змеи – наши собственные ласки, гуляющие на свободе.

– Ну а как быть с насекомыми? – спросил Леонтий Михайлович.

– Насекомые, бабочки, мотыльки – ведь это ожившие цветы. Это тончайшие ласки без прикосновения. Они все родились в солнце, солнце их питает. Это – солнечная ласка, это самая близкая мне... Вот в Десятой сонате... Эта вся соната из насекомых... Каким единством все проникнуто, – говорил Скрябин.

Они шли по деревенскому мостику.

– В науке все принято разъединять... Радиоактивность... Теория относительности... Но у меня будет синтез... Знаете, ведь звери тоже будут принимать участие в моей Мистерии... Вот в этот последний день в последнем танце, может, мы уже не будем людьми, а станем сами ласками.

Было уже совсем темно, вдали в избах горели огни и небо было в крупных звездах.

– В природе меня всегда поражало одно: растения, цветы, деревья – все они безмолвны, неподвижны, они хором пьют земляные соки и солнечные лучи... Как прекрасно... Тишина есть тоже звучание... В тишине есть звук, и пауза звучит всегда. Есть, конечно, такие пианисты, у которых пауза – просто пустое место. Но она должна звучать. Знаете, я думаю, может быть музыкальное произведение, состоящее из молчания.

На крыльце дачи он уселся на стул и сказал:

– Извините, у меня йоговские упражнения по Рама‑чараке.

Он очень забавно вдыхал воздух, сидел с ничего не выражающим лицом, а затем выпускал воздух. Иногда при этом он вскакивал и делал движения руками.

– Вы знаете, – сказал он, окончив упражнения, – мы не умеем ни есть, ни спать, ни дышать, вообще, нас не учат жить. В школе нас учат пустякам, а в индусских школах учат культуре духа... Оттого там культура пошла по более глубокому направлению... Мне необходимо физическое здоровье... Мне надо, может быть, очень, очень долго жить...

Утром Скрябин и Татьяна Федоровна провожали гостей к дачному поезду.

– Вернемся с дачи, опять концерты, – говорил Скрябин. – Опять погоня за презренным металлом.

– Дети растут, – говорила Татьяна Федоровна, – им надо гувернантку, бонну.

– Вместо того чтобы писать Мистерию, я должен играть, причем ранние свои вещи, ведь другого там не поймут. Как это ненормально и возмутительно, что художники не обеспечены. Государство должно их обеспечивать – это первая задача. Ведь искусство – это последнее, конечное, ради чего живут и стоит жить. Возмутительно, что я должен заниматься этими вот заработками.

Они вышли на дощатый перрон.

– Впрочем, – смеялся уже Скрябин, – в гастролях бывают и милые курьезы. В Ростове антрепренер, будучи в восторге, хотел повести меня в публичный дом, чтобы сделать мне приятное, и был удивлен, когда я отказался... В Одессе в интервью про Мистерию сообщили, что это будет «химическое соединение всех искусств».

Подкатили дачные вагончики. Радостные и возбужденные, Скрябин и Татьяна Федоровна остались на платформе, маша вслед уходящему составу.

Был трескучий февральский мороз. Малиновое вечернее солнце садилось в тумане. На Театральной площади горели костры. Огромная толпа стояла у Благородного собрания, где висела афиша: «Рахманинов... Колокола... Аплодисменты запрещены...». Зал был переполнен. Повернувшись к оркестру, Рахманинов минуту‑другую стоял, низко наклонив коротко стриженную голову. Начался концерт. Тихий, счастливый золотой звон сменился медным звуком адского набата, затем равнодушный, пустой холодный железный звук, а потом снова зазвенело нежное рахманиновское...

Скрябин и Татьяна Федоровна сидели в окружении «апостолов». Скрябин во время концерта ерзал на стуле, сначала тихо, потом энергично, затем стал подскакивать в кресле и тревожно, мучительно озираться по сторонам. Но вот конец. Молчание. Лишь теснится взволнованная публика. В тишине три человека немедленно поднялись на эстраду, неся дар – гирлянды серебряных колокольчиков и колоколов, прикрепленных к крестовине. На суровом до надменности лице Рахманинова явилась растерянная улыбка. Опустив палочку, он беспомощно развел руками, глядя на морс взволнованных лиц и на руки с цветами, протянутые к нему. Среди всеобщего ликования пробиралась раздраженная группа Скрябина.

– Из меня словно нервы тянули, – сказала Татьяна Федоровна.

– Не могу ни одного звука запомнить из такой музыки, – говорил Скрябин. – Какая‑то однородная тягучая масса, точно тянучка... Знаете, конфетки такие есть... Но вынужден ходить из дипломатических соображений... Знаете, светские приличия... То, что он запретил аплодисменты, – говорил он уже на улице, – то, что на афише написано о запрете аплодисментов, показывает, что Рахманинов сам не понимает своих сочинений... Есть произведения, которые требуют после себя взрыв аплодисментов... Эти аплодисменты входят в состав композиции. Например, разве можно представить себе какую‑нибудь рапсодию Листа, оконченную без аплодисментов? Это такая же часть сочинения, как кастаньеты в «Арагонской хоте»... А в других сочинениях, действительно, должно быть тихое шелестящее молчание, которое их завершает... Но только не здесь, не в этих «Колоколах», которые зовут не на небо, а в монастырскую трапезную.

– Казалось бы странным, – сказал доктор, кивнув на костры, у которых грелись студенты и курсистки, жаждавшие билета на Рахманинова, – почему Пуччини, будучи пигмеем но сравнению с Глюком, играл такую выдающуюся роль в борьбе с новаторами. Но Пуччини имел обычное преимущество таланта перед гением: он был доступен массе.

– Рахманинов – это современный Пуччини, – сказал Подгаецкий, – но Александр Николаевич выше Глюка.

Дома, красные от мороза, за традиционным самоваром продолжали традиционные разговоры.

– Вы знаете, – говорил Подгаецкий, – если уж идти в этом направлении, то, скорей, интересен Прокофьев... Его очень хвалят в Петербурге... В нем есть такое милое варварство... Такой премилый скиф. Вот у меня здесь кое‑что.

И он протянул ноты. Скрябин печально посмотрел в ноты и сказал:

– Какая грязь... Я, кажется, делаюсь похожим на Лядова... И немножко на Танеева... Не люблю музыкальную грязь... Притом какой это минимум творчества... Самое печальное, что эта музыка действительно что‑то отражает, но это что‑то ужасно... Вот уж где настоящая материализация звука.

– А Рахманинову нравится, – сказал доктор.

– Ну, Рахманинов... Вот как он сидит над инструментом, – и Скрябин, вскочив, показал, – как за обеденным столом. Я ведь вижу, что Рахманинов инструмента не любит... Техник он хороший, но звук его однотонен... Он все играет одним, правда, очень красивым, но ужасно лирическим звуком, как и вся его музыка. В этом звуке много материи, мяса, прямо окорока какие‑то... И Рахманинов ведь совершенно не учитывает нервную технику... У него бесполая музыка, его могут одинаково играть и мужчины, и дамы... А у меня Третью сонату, например, может играть только мужчина... тут воля мужская должна быть... Никогда дама так не сыграет... – Он проиграл кусок. – ...а всегда вот так... – Он слова проиграл. – Не правда ли, скверно выходит, совсем скандал... Это эстетизм, есть милые люди, но эстеты... Например, князь Гагарин... Как у него соединяется интерес к моей музыке с Рамо, Вандой Ландовской или Стравинским?

– Думаю, – сказал доктор, – что князь Гагарин без указания Скрябина от Рахманинова не отличит.

– Господа, это нехорошо, – сказала Татьяна Федоровна. – Князь Гагарин на редкость образованный, культурный человек, он совершенно мистически настроен.

В салоне князей Гагариных среди старинной мебели Скрябин и его «апостолы» выглядели несколько провинциально. Татьяна Федоровна была одета в длинное бальное платье.

– Княгиня, – сказала она Гагариной, – я заказала старинный диван в мастерской, он скоро будет готов.

– Но старинных вещей не заказывают, – сказала княгиня.

– Вроде старинного, – поправилась Татьяна Федоровна.

– Господа, у меня сюрприз, разрешите представить, – сказал князь Гагарин, пожилой человек с бородкой повесы, – Александр Николаевич Брянчанинов... Впрочем, – обратился он к Скрябину, – вам знакомый.

– Да, да, – сказал Скрябин, – что‑то припоминаю.

– Здравствуй, тезка, – сказал Брянчанинов, обнимая Скрябина.

– Почему он говорит Александру Николаевичу «ты»? – сказал доктор Подгаецкому, ревниво и сердито.

– На правах старого товарища, – сказала Татьяна Федоровна. – Они встречались в Париже.

– Один раз, – тоже ревниво сказал Подгаецкий.

За ломберным столиком Брянчанинов, быстро ставший душой общества, говорил:

– Союз России с Англией необходим. Мир должен быть объединен, а над святой Софией воздвигнут православный крест.Англия, Александр Николаевич, – мистическая страна, тесно связанная с Индией.

– Именно, – говорил Скрябин, – я согласен... Если мир будет объединен, Мистерия станет неизбежной. Я думаю, что английское правительство поможет мне в покупке земли для храма...

– Ваши гастроли в Англии сейчас необходимы и носят политический характер, – сказал Брянчанинов. – Я думаю, вы как великий мыслитель и композитор произведете достойное впечатление в парламентских кругах...

– Вам не кажется, – сказан доктор, когда поздно ночью вышли из салона на заснеженный бульвар, – что господин Брянчанинов, в сущности, очень далек от ваших идей?

– Нет, доктор, вы ошибаетесь, – мягко сказал Скрябин. – Он вполне со мной, хоть считает, что конечная цель – торжество славянства во всем мире. Я же думаю, что дело идет глубже, о Мистерии. Мне теперь нужен именно политик. Моя идея становится ведь политической. Ведь Мистерия будет на английской земле, и потому нам надо союз России с Англией.

– Но ведь этот Брянчанинов типичный реакционер, – сказал Подгаецкий.

– Да, – сказал Скрябин, – это, конечно, неприятно. Он мне напоминает моего отца. Мой отец тоже немного черносотенец... Но я надеюсь, что господин Брянчанинов, поняв всю грандиозность моего замысла, оставит свои заблуждения. В противном случае мы с ним, конечно, не сойдемся. Я ведь с родным отцом не в ладах. По разным причинам, и по этой тоже... По‑моему, всякий черносотенец чересчур материален и лишен поэзии и мистического чутья...

Однажды, придя домой в отличном настроении и раздеваясь в передней, Скрябин говорил:

– Я узнал новость, Алексей Александрович собирается в актеры. Смешно. А вот мы спросим у него сегодня вечером. Собирается выступать в Свободном театре под псевдонимом Чабров, чуть ли не в роли Арлекина...

Он замолчал. Татьяна Федоровна сидела с заплаканным лицом. Марья Александровна ходила, сердито потряхивая головой и бормоча.

– Что случилось, Тася? – спросил Скрябин.

– Консерватория прислала почетный билет А. Н. Скрябину и В. И. Скрябиной. Это не ошибка, это расчет.

– Удивительна людская мелочность, – с негодованием сказал Скрябин.

– Нужно добиваться развода, – сердито сказала Марья Александровна, – нужен юрист.

– Но ведь вы знаете, что Вера Ивановна, – имя это Скрябин произнес шепотом, как нечто неприличное, – не даст мне развода. Ведь вот какая гадость.

– Тогда надо завещание, – сказала Марья Александровна, – прежняя жена лишена должна быть наследства, а все наследуют дети и настоящая жена.

Скрябин изменился в лице.

– Какое завещание, – сказал он. – Я ведь много раз говорил, при чем тут завещание... А как же Мистерия, Тася... Ведь ты сама знаешь, что мне надо долго жить...

– Ну при чем тут Мистерия, – вдруг побледнев, крикнула Татьяна Федоровна. – Мне надоело быть наложницей... Мне не подают руки... Дети не имеют законного отца... Твоя первая жена умышленно не дает развода, чтоб носить твою фамилию... А ты потакаешь... мне надоело.

И она бросила на пол тарелку.

Позже они сидели оба бледные и мрачные. Раздался звонок в передней. Татьяна Федоровна быстро подошла к зеркалу и начала приводить себя в порядок. За столом с самоваром Скрябин говорил Леонтию Михайловичу:

– Вы ведь знаете, на какие гадости способны эти люди, ведь они изводят мелким изводом, стараясь уколоть самолюбие... Я не могу с этим примириться... Вера Ивановна не дает развода.

– Однако почему вы придаете этому такое значение? – сказал Леонтий Михайлович. – Разве вас не удовлетворяет внутреннее содержание ваших отношений с Татьяной Федоровной?

– Саша не любит об этом упоминать, – сказала Татьяна Федоровна, – но ведь и мне хочется быть не Шлёцер, а Скрябиной, по закону. Мне хочется быть легально рядом с Сашей, всюду... Вы знаете, что мы пережили в Америке... Это ужасная страна.

– Ну почему же, – несколько повеселев, сказал Скрябин, – очень смешная страна... В Нью‑Йорке интервью со мной было озаглавлено «У казака‑Шопена», – он уже смеялся, – там было сказано, что казацкий композитор Скрябин принял их в роскошном кабинете и размахивал левой рукой, рукой Ноктюрна... И все время спрашивали про Горького... Я думал, что Горький – это единственный русский писатель, которого они читают... Оказывается, Горький просто был незадолго до меня, и у него тоже произошла подобная моей история... И все‑таки Америка имеет большое будущее.

– Ну уж эта твоя Америка, – сказала Татьяна Федоровна, – отвратительная прозаическая страна.

– Знаете, – смеясь говорил Скрябин, – со мной там был скандал... У меня есть вальс в духе Штрауса... С виртуозными пассажами, с октавами... Ужаснейший... Я его сочинил для практики левой руки, когда правая у меня болела и, вообще, когда я был светским человеком... И вот я решил в заштатном американском городке сыграть этот вальс... Даже не в Нью‑Йорке и не в Чикаго... Посмотрю, что будет... Был успех... Такой сокрушительный успех, и вдруг сквозь рев и аплодисменты один свисток... Оказалось, что это свистел мой знакомый, русский, который был случайно в этом городе и пошел послушать концерт... Ему стало за меня стыдно...

– Вот видишь, Саша, – сказала Татьяна Федоровна, – один только порядочный человек нашелся, да и тот москвич.

– Они, Тася, не виноваты, – сказал Скрябин. – Бывают нации музыкальные, например русские, евреи, итальянцы, и немузыкальные, как англичане.

– Нет, отвратительная страна, – настаивала Татьяна Федоровна.

– А что, Бельгия разве лучше? – сказал Скрябин. – Такое же мещанство и такое же малое, понимание... Европа теперь будет все равно угасать, такова ее роль, а Америка еще имеет шансы развиться в будущем.

– В Бельгии есть мораль, – сказала Марья Александровна. – Там мужчина никогда б не потерпел незаконного сожительства с любимой женщиной.

Наступило неловкое молчание.

– Я, пожалуй, пойду спать, – сказала Татьяна Федоровна. – Вы извините, разболелась голова.

Она попрощалась и ушла. Марья Александровна пошла за ней следом.

– Пойдемте, выпьем пива, – сказал Скрябин. – Сюда поблизости, в «Прагу»...

Они вошли в ресторан и заняли место у лестницы в уголке.

– Если б вы знали, – сказал печально Скрябин, – как много нервов у меня берут эти скандалы. Они ведь не так редки, ведь это систематически, несколько раз в год эта история... Это страшная проза жизненная, которую я так ненавижу.

Помолчали.

– Зачем она играет мои вещи, – сказал Скрябин, – кто ее просит... Ведь это неспроста... Она нарочно играет, чтобы позлить и изобразить оскорбленную справедливость.

– Но ведь вы не можете запретить кому бы то ни было играть свои вещи, – сказал Леонтий Михайлович.

– К сожалению... Но некоторым не следовало бы прикасаться к ним. Ведь она ужасно их играет... И заметьте, она, которая так ненавидела мои последние сочинения, теперь их играет... У меня теперь два таких экземпляра, которые выставляют благородство за мой счет... Она и Кусевицкий... Тот тоже меня исполняет.

– А скажите, – разлив пиво Шитта из кувшинчиков, спросил Леонтий Михайлович, – как же вы так ошиблись в первом своем семейном выборе?

Скрябин засмеялся.

– Вы знаете, что тогда у меня были очень странные убеждения... Я был ницшеанец, светский лев, роковая личность... Ах, какие цветные жилеты я тогда носил, – сказал он с мечтательной улыбкой, – я был совсем юный щенок, и почему‑то мне казалось, что в некоторый момент молодому человеку надо непременно жениться... Конечно, я Веру нисколько не любил... Но уж теперь я решил твердо пресечь все штучки с ее стороны... Ведь, поймите, она все еще надеется.

Он помолчал как‑то вдруг растерянно.

– Она все время мне хотела устраивать свидания у тети, чтоб я увиделся с детьми... У меня ведь там трое детей осталось после смерти Риммочки... Но я не могу себе этого позволить... Это интриги... Тут Таня права.

– И вы счастливы вполне? – тихо спросил Леонтий Михайлович.

– Таня окружила меня полной заботливостью и преданностью. Это и друг, и жена, и мироносица... И я бесконечно ей обязан... А по‑настоящему я любил одну только Марусю... Марью Васильевну... Была у меня любовь... Так, вроде бы мимоходом... Первоначально я ее и не заметил, – он снова помолчал, – ведь такие люди, как мы, никогда не свободны в жизни. Жизнь им дается извне, чтоб расцвел их гений... Так же и коронованные особы не могут жениться по выбору своему. Мне нужна именно такая, как Татьяна Федоровна, чтоб я имел возможность погрузиться в свой мир... Ведь уже пора, пора бросить пустяки и заниматься делом. У меня есть какая‑то инерция, я занимаюсь писанием сонат с удовольствием, с каким не должен был заниматься... Как это теперь скучно – быть только композитором... Я хочу, чтоб в Мистерии язык был синтетический, воссоединенный.

– Значит, вы сочиняете новый язык, – сказал Леонтий Михайлович, – ныне на земле не существующий?

– Вы все‑таки ужасный прагматик, – сказал Скрябин. – Доктор прав. Ведь до этого столь много должно произойти... Это будет очень скоро, но не сейчас...

Официант принес еще пива, тарелку вареных раков.

– Я долго думал, как осуществить в самой постройке храма текучесть и творчество... И вот мне пришло в голову, что можно колонны из фимиама... Они будут освещены светом и световой симфонией, и они будут растекаться и вновь собираться. Это будут огромные огненные столбы. И весь храм будет из них. Это будет текучее, переменное здание, текучее, как музыка... И его форма будет отражать настроение музыки и слов... Тут есть все – и симфония световая, и текучая архитектура, не грубая материальная, а прозрачная, и симфония ароматов, потому что это будут не только столбы светов, но и ароматов... И к этому присоединятся краски восхода и заката солнца... Ведь Мистерия будет продолжаться семь дней...

Леонтий Михайлович посмотрел на Скрябина. Скрябин сидел нарядный и элегантный, в хорошем английском костюме, в модном галстуке, освещенный уютными электрическими лампочками ресторана «Прага».

– Александр Николаевич, – сказал тихо Леонтий Михайлович, – какие у вас данные для того, чтобы утверждать, что именно вы должны совершить все это?

– Я думаю, – ответил Скрябин серьезно, – что зачем же мне была открыта эта идея, раз мне ее не осуществить?.. И я чувствую в себе силы для этого... Каждому открывается именно та идея, которая ему предназначена. Бетховену была открыта идея Девятой симфонии, Вагнеру – идея «Нибелунгов»... а мне это...

Он выпил пива.

– Вы знаете, что у меня бывают приступы отчаяния, когда мне кажется, что я не напишу Мистерию... Это самые ужасные минуты моей жизни. Это минуты малодушия, но это‑то и подсказывает мне, что я прав. – И он закончил резко и определенно: – Я не пережил бы часа, в который бы убедился, что не напишу Мистерию.

– Сегодня у нас Бальмонт, – торжественно как‑то говорил Скрябин своим домашним и «апостолам», – Тася, надо, чтоб все поторжественней... Зажги свечи... И на стол, пожалуйста, бархатную скатерть с кистями.

– Вы знаете, – садясь в сани рядом с Леонтием Михайловичем, говорил Бальмонт отрывистым и надменным голосом, – вы знаете, что я считаю себя большим поэтом... Но мое искусство бледнеет перед искусством этого музыканта... Вагнер и Скрябин ‑ два гения, равнозвучных мне и дорогих... Я помню Вагнера... Я не знаю, что это было – кажется, «Лоэнгрин»... Это было заклинание стихийных духов... Это было гениально... У Скрябина тоже, особенно в этой, – он запнулся, – кажется, в Пятой сонате... Добровейн играет ее в моем концерте... Там есть такое... Справа налево... Это изумительно...

Стоя у рояля, запрокинув свое бледное лицо средневекового испанского гранда, Бальмонт читал «Смерть Димитрия Красного. Предание»:

В глухие дни Бориса Годунова

Во мгле Российской пасмурной страны

Толпы людей скиталися без крова

И по ночам всходило две луны.

Трещали свечи. Молча сидели вокруг стола Скрябин и его «апостолы». Бальмонт читал «Скорпиона», сонет:

Я окружен огнем кольцеобразным,

Он близится, я к смерти присужден

За то, что я родился безобразным,

За то, что я зловещий скорпион.

Скрябин молча сел за рояль.

– Саша, – сказала Татьяна Федоровна, – сыграй мерцающую тему.

– Это поцелуй звукам, – говорил Бальмонт. – Вы не Титан, Александр Николаевич, вы Эльф... Вы умеете ткать ковры из лунных лучей... Но иногда вы тоже коварно можете подкрасться и низвергнуть лавины в бездны.

– Именно в бездны, – сказал Скрябин. – Вы знаете, Константин Дмитриевич, когда вы читали, я подумал об одном моем знакомом... Господни Брянчанинов... Он хорошо осведомлен в дипломатических делах... Он говорит, что начинается... Он говорит о волнениях в Китае... Там зашевелилось... Китай – это ведь огромная сила, не столько политическая, сколько мистическая... Напрасно это не учитывает Запад... Мир капитала... Перед Мистерией именно произойдет великое переселение народов, войны, всеобщее пробуждение. Будет огромная мировая война. Это будет мировой пожар. Это замечательно. Восстанет Африка. Африканцы в высшей степени способны к ясновиденью. Ведь был же Пушкин отчасти африканцем. У них имеется такое не рациональное, а более непосредственное постижение мира.

И Скрябин радостно засмеялся.

По случаю особой торжественности момента пили не традиционный чай, а вино. Скрябин говорил:

– Когда я писал Третью симфонию, у меня на рояле всегда стояла бутылка коньяка... Теперь я во внешней опьяненности не нуждаюсь... В Мистерии у меня, знаете, будут шепоты... Ведь никогда шепота не было введено как звука. Шепот огромной массы народа, шепот хора... Это должно быть совершенно повое ощущение...

– Я ведь был под надзором полиции. Я сотрудничал в нелегальной газете социал‑демократов «Искра», – сказал Бальмонт и продекламировал: – Рабочий, только на тебя надежда всей России. Тяжелый молот пал, дробя оплоты крепостные. Тот молот твой, пою тебя но имя всей России.

– А правда, господин Бальмонт, что вы всегда носите с собой револьвер? – спросил доктор.

– Абсолютно верно, – сказал Бальмонт и вынул из бокового кармана браунинг.

– Мелодия начинается звуками, а кончается, например, в жестах, – в своей заклинательной ритмике сказал Скрябин. – Или начинается в звуке, а продолжается светом... Как это волнует... Как будто неисследованную землю открыл... Но так много работы, – вдруг тоскливо сказал он, почти вскрикнул.

#### \* \* \*

Они твои, тебя терзающие дети,

Тобой рожденные в взволнованной груди.

Они строители сверкающего храма,

Где творчества должна свершиться драма,

Где в танце сладостном в венчании со мной

Ты обретешь тобой желанный мир иной.

А. Скрябин. Предварительное действие

Дача была старая, двухэтажная, а вокруг жаркое лето 1914 года. Скрябин, листая тетрадь, сидел на балкончике, ярко освещенном солнцем, вместе с Борисом Федоровичем. Татьяна Федоровна здесь же неподалеку в сарафане варила варенье на дворовом очаге, давая время от времени распоряжения бонне, гуляющей с детьми.

– Я теперь так много должен писать, – жаловался Скрябин, – у меня такое чувство, что я не имею нрава отдохнуть. Кто‑то стоит надо мной и твердит: ты должен работать... Иначе я не успею... Так много, так страшно много надо сделать, а время идет...

– Иначе говоря, пусть сия чаша минует меня, – сказал Шлёцер.

– Вот ты не знаешь, как это тяжело, – сказал Скрябин, – как тяжело чувствовать на себе бремя мировой истории... Иногда с такой завистью смотрю на людей, которые просто живут, просто наслаждаются миром, даже просто творят. Им ничего не было открыто, им не была открыта такая идея.

– Но ведь цель искусства – жить просто так, – сказал Шлёцер, – игра без цели.

– Во‑первых, это плагиат из Шиллера, – заспорила Татьяна Федоровна с братом, – а во‑вторых, ты неправильно цитируешь Шиллера и искажаешь его... Вот, например, у меня часто болят зубы, значит, у меня уже не может быть жизни без цели.

– Здесь дело не в распределении материала, – сказал Скрябин серьезно. – Боль можно преодолеть наслаждением.

– Речь идет о сочинении некой мелодии, мелодии ощущений, согласно заданному чувству, каким является зубная боль, – сказала Татьяна Федоровна с улыбкой.

– Правильно, – увлеченно воскликнул Скрябин. – Ведь это могло бы быть настоящим лечением всех болезней... Какие контрапункты можно придумать к зубной боли... Какие образы... Знаешь, в «Предварительном действии» я все‑таки прибегну к образам... Конечно, я использую материал, приготовленный для Мистерии, но это лишь подготовка, это пролог к Мистерии. Я понял, без пролога не обойтись. Нужен переход от «Поэмы экстаза» к Мистерии.

– «Предварительное действие» это Мистерия, которая не окончится концом мира, – сказал Шлёцер, – безопасная Мистерия... не обедня, а обеденка.

– Но без этого не обойтись, – как‑то печально сказал Скрябин.

Уже после обеда, сидя за роялем, Скрябин говорил:

– Вот Восьмая соната, обратите внимание на вступление. И вы будете говорить, что у меня нет полифонии после этого?.. Вот видите, какие контрапункты гармонические, тут нет борьбы, как у Баха, а полная примиренность... А вот тут самый трагический эпизод из того, что я написал... Тут перелом настроения в течение одной фразы... Ну и трудна же она... Я чувствую, что эти звуки похожи из природы, что они уже раньше были... Тут же, как и колокола из Седьмой сонаты... Каждая гармония имеет форму, это мост между музыкой и геометрией... А вот танец падших, – он проиграл кусок, – это очень бедовая музыка... А вот гирлянды... Хрупкие, кристальные образования... Они все время возникают, радужные и хрупкие, и в них есть сладость до боли.

– Саша, сыграй из Четвертой сонаты, – сказала вдруг Татьяна Федоровна.

Скрябин улыбнулся.

– Я ее теперь заново выучил для концерта, – сказал он не без гордости, – как следует выучил... Раньше я ее с некоторым жульничеством играл, я вот этих нот вовсе не играл, как они у меня написаны... А теперь я все по чести играю, да еще в каком темпе.

Он сыграл кусок.

– Я хочу еще скорее, так скорей, как только возможно, на грани возможного... Чтоб это был полет со скоростью света, прямо к Солнцу, в Солнце! А вот как меня потом пианисты будут играть.

И он взял неритмично торжественные аккорды и, окончив, отдернул пальцы, словно обжегшись.

Они гуляли в парке.

– Какое ужасное лето, – говорила Татьяна Федоровна. – Вы чувствуете гарь, каждый день слышен в деревне набат... Вот и сейчас...

– Это в Гривно, – сказал Борис Федорович. – Наверно, какой‑то большой пожар... Пойду к соседям, узнаю.

Он пошел к соседней даче, но тут же вернулся и крикнул:

– Война с Германией! Мы ведь газет здесь не читали... Как гром с ясного неба!

Скрябин встал со скамейки, на которую присел было. В первое мгновение он казался растерянным, но затем лицо его приняло торжественное выражение.

– Вы не можете себе представить, – сказал он, – какое это огромное значение, эта война... Это значит, что то самое начинается... Все то начинается, о чем я говорил... Начинается конец мировой истории, теперь все пойдет сразу скорее и скорее, и само время ускорит свой бег. Я даже не думал, что это так скоро произойдет. Но только будут большие испытания, будут страшные минуты... Я лично к ним готов, не знаю, как остальные... Войной это дело не ограничится, после войны пойдут огромные перевороты социального характера, затем начнется выступление отставших рас и народов, восстанет Китай, Индия, проснется Африка... Все эти события ведь не сами по себе... Ведь это поверхностное мнение, что война начинается от каких‑то внешних причин. Если у нас война, то, значит, какие‑то события произошли в мистическом плане. В мистическом плане сейчас случилась целая катастрофа... Там... Я знаю, что это за катастрофа... Это тот самый перелом, о котором я говорил... В ближайшие годы мы переживем тысячи лет...

Война многое изменила, даже в салоне Скрябина явилось новое, тревожное. Доктор был в военном мундире, Брянчанинов в каком‑то полувоенном мундире, остальные по‑прежнему в штатском. Брянчанинов читал вслух газету:

«Турко‑немцы захотели внести смятение в наши беззащитные города черноморского побережья. В ночь накануне Успения ненависть к Христу у турок и породнившихся с ними немцев‑лютеран, христиан но имени, но давно отвергнувших уже таинство и священство, толкнула их быстроходный крейсер к нападению, однако он милостью Божьей наскочил на мину...»

– Германия – это выражение крайнего грубого материализма, – говорил Скрябин, – там вся наука, вся техника пошла на служение идее грабежа. Это так и должно быть... Ведь всякие музыканты могли бы быть пророками, если бы только были внимательны, потому что в нашем искусстве это отражено особенно ярко. Например, из одного существования Рихарда Штрауса можно было бы заключить давно, что будет мировая война, затеянная Германией, и что в этой войне будет чрезвычайное зверство обнаружено именно немцами.

– «Случайно спасшийся из застенка унтер‑офицер Панасюк, – читал Брянчанинов, – рассказывает, что к нему – честному врагу – бесчестные офицеры императора Германии применили технически выработанные приемы допроса. Один в течение часа ножницами остригал ушную раковину, другой перочинным ножом обрезал нос и бил но зубам...»

– Надо обратить внимание, насколько тонка цивилизованная корочка, – сказал Скрябин. – Настал момент, и эта корочка слетает, и перед нами варвар, какой жил в пещере во времена мамонта... Доктор, я к вам загляну в гости. Я хочу повидать людей войны... Война ведь всегда пробуждает в людях мистическое.

Скрябин казался совершенно поникшим, и атмосфера в его салоне была мрачной, приглушенной.

– Что с вами, Александр Николаевич? – говорил Леонтий Михайлович. – Вы нездоровы?

–  Нет, – отвечал Скрябин. – А вас что‑то давно у нас не было... Тася, Леонтий Михайлович пришел, дай нам чаю... Вот времена, чаю хорошего не достать... Все дурно... Вот и с войны дурные вести... Доктор говорит, что война продолжится еще не меньше года, а может быть, и дольше... Ведь это ужас... Что мне тогда делать... Притом я в самом деле начинаю волноваться... Вы читали газеты?

– Что бы ни случилось, – сказал Леонтий Михайлович, – Россия будет... А вы русский композитор.

– Да, да, – сказал Скрябин и после паузы прибавил: – Вы знаете, у меня отец скончался.

– Как? – сказал Леонтий Михайлович. – Где?

– Он еще до Рождества скончался, – сказал Скрябин. – Я по этому поводу несколько расстроен. Хотя у меня, вы знаете, с отцом не было тесных отношений... Как раз последнее время, впрочем, мы больше научились понимать друг друга... Вы его помните?

– Так, мельком, – сказал Леонтий Михайлович. – Он, кажется, приходил с визитом... И с ним была женщина.

– Это моя мачеха, – сказал Скрябин, чему‑то печально улыбнувшись. – Вы не находите, что она похожа на Татьяну Федоровну?.. У нас с отцом ведь был к женщинам общий вкус, – сказал он, понизив голос, – но в остальном... Он ведь очень далек был от искусства, вообще от моих планов... Мать у меня была пианисткой, говорят, замечательной... Я ее не помню, только по фотографиям...

Вечером, когда все постоянные члены салопа были в сборе, много говорили о питерских сплетнях.

– Я слышал, раскрыта измена в генеральном штабе, – сказал Подгаецкий, – и изменники связаны с Распутиным.

Скрябина передернуло.

– Ведь если бы он действительно был мистиком, – сказал Скрябин, – если бы он чувствовал что‑нибудь, этот Распутин, это было бы тогда ничего... Это был бы тогда все‑таки какой‑то экстаз.

– Может быть, он действительно мистик, – сказала княгиня Гагарина. – Ведь про него определенно говорят, что у него необыкновенный взор, что он прямо гипнотизирует.

– Какой там взор, полноте, – запротестовала Татьяна Федоровна. – Отвратительный грязный мужик, действующий на самые низкие инстинкты, вот и все... При чем тут мистика? Я не понимаю, Саша, как ты можешь защищать?

– Я вовсе не защищаю, – говорил Скрябин, – для меня только важно, что есть какое‑то устремление к мистическому, какая‑то жажда чудесного, но эта жажда направлена по совершенно ложному пути.

– Просто плут, шпион немецкий, – решительно сказал доктор.

Было уже совсем поздно. Гости разошлись, не было Татьяны Федоровны, которая ушла спать. Скрябин и Леонтий Михайлович играли в шахматы.

– Я пойду, – сказал Леонтий Михайлович, окончив партию.

– Я вам хочу показать кое‑что, – сказал Скрябин, – если вы не торопитесь... Вот, сочинил вдруг Прелюдию...

Вошли в темный кабинет, сохранивший следы брошенной работы. Была очень яркая лунная ночь, Скрябин сел к роялю.

– Что это такое? – шепотом спросил он, играя, и, не дожидаясь ответа, таинственно продолжал: – Это смерть... Это смерть как явление женственное, которое приводит к воссоединению... Смерть и любовь... Смерть – это, как я называю в «Предварительном действии», Сестра... В ней уже не должно быть элемента страха перед ней. Это высшая примиренность, белое звучание.

Он играл некоторое время молча, а потом, словно сам потрясенный своим творением, сказал таинственно:

– Здесь бездна...

– Это не музыка, – тихо сказал Леонтий Михайлович, – это что‑то иное.

– Это Мистерия, – отвечал тихо Скрябин...

Скрябин сидел в кресле‑качалке, диктовал Татьяне Федоровне.

– «Милостивая государыня Вера Ивановна. На мои неоднократные предложения прислать детей к моей бабушке для свидания со мной вы всегда отвечали приглашением повидать их у вас, что равносильно отказу. Не считая удобным из‑за детей видеться с ними помимо вашего согласия, на что я имею право...» Впрочем, Тася, начиная с «видеться с ними» зачеркни... Как‑то скандально... Напиши: «пользоваться своим правом свидания с ними помимо вашего согласия... Делаю вас ответственной перед детьми за последствия...» Я потом перепишу и отправлю.

– Не надо переписывать, – сказала Татьяна Федоровна. – так пошлем... Я ей даже твоего почерка дарить не хочу...

– Что‑то меня знобит, доктор, – говорил Скрябин, стоя перед зеркалом и разглядывая себя, – и снова этот негодяй поселился у меня под правым усом... на том же месте... Посмотрите, доктор... В Лондоне этот прыщик начал нарывать как раз в день концерта... Представляете, какая странность: во время игры я боли не чувствовал, и исполнение было недурное, но у меня явилась полная апатия ко всему, что происходило потом...

– Сейчас же в постель, – несколько встревоженно сказал доктор.

– Вот и тогда, – говорил Скрябин, – я как‑то машинально кланялся и только и думал, как бы добраться до постели...

К вечеру уже было состояние всеобщей хаотичности, состояние растерянности на всех лицах. Ходили по комнатам взад и вперед. Рояль был закрыт, и на пюпитре виднелась рукопись «Предварительного действия». Вошла Татьяна Федоровна в белом халате сиделки с твердым лицом и сказала:

– Александр Николаевич проснулся... К нему можно на минутку, но не волновать и не утомлять.

В спальне две кровати стояли рядом, был полумрак. Что‑то делал шепотом говоривший Подгаецкий. Здесь же был доктор. Скрябин лежал в большой белой повязке, закрывающей нижнюю часть лица так, что ни бороды, ни усов не было видно. В глазах было страдание. Он подал вошедшим сухую, горячую руку.

– Видите, как я оскандалился, – сказал он изменившимся голосом, совершенно не выговаривая гласных.

– Все пройдет, – сказал Леонтий Михайлович.

Скрябин что‑то невнятно сказал, Татьяна Федоровна нагнулась к нему и переспросила, улыбаясь кривой улыбкой.

– Александр Николаевич говорит, что как же он поправится, а лицо у него будет изуродовано, если его разрежут...

– Все, все заштопаем, Александр Николаевич, вы и думать не извольте, – уверенно и громко сказал доктор.

– Шрам будет, – внятно сказал Скрябин, – Я говорил, что страдание необходимо... Это правда, когда я раньше это говорил. Теперь я чувствую себя хорошо. Я преодолел...

В комнатах народу становилось все больше, мелькали и незнакомые лица.

– Я послала телеграмму Борису Федоровичу, – сказала Татьяна Федоровна и лицо ее выразило огромное страдание, но не надолго, она вновь точно окаменела, – пусть приедет.

Тут же рядом был маленький Юлиан, которого она гладила по волосам. Прошли два новых доктора с саквояжами. Доктор Богородский взял Леонтия Михайловича и Подгаецкого об руку, увлек их в сторону и сказал:

– Вот что, друзья, положение‑то еловое… Надо резать, иначе капут… Только надо, по моему мнению, еще пригласить профессора. Как брать на себя такое дело… Я не берусь… Самое это поганое дело друзей лечить, да еще Александра Николаевича. Сам бы лучше двадцать раз подох… Профессор Спижарский хорошо режет карбункулы…

Скрябин видел над собою склоненные лица. Что‑то вдруг вонзилось в самую глубину, вспыхнуло…

– Яд очень сильный, – говорил тихо профессор Спижарский, складывая хирургический инструмент, – нетекучие флегмоны… Это стрептококковое заражение.

– Где же этого гноя достать, коли нет, – с тоской сказал доктор, – отек у него все растет, – говорил доктор, окруженный близкими. – Вот резали тут, а теперь уже воспаление вот тут, – показывал доктор на своем лице.

– И очень сильно вы его резали? – спросила Любовь Александровна.

– Да уж что тут говорить, – сказал доктор, – резали как следует. Надо пригласить профессора Мартынова, это лучший московский хирург… Сделаем консилиум.

Было яркое солнечное утро. Скрябин лежал на нескольких подушках, почти полусидел.

– Здравствуйте, – сказал он вошедшим «апостолам». – Видите, в каком я жалостном состоянии, совершенно вопреки расчетам. Главное, я боюсь, что моя поездка по провинции не состоится и мне большую неустойку придется платить… Ну, сегодня все‑таки как будто посвободнее…

– Ну все, – сказала Татьяна Федоровна, – спи спокойно… Он бредит, – сказала она уже в кабинете, – но как будто немного получше. Все‑таки теперь как‑то после Мартынова спокойней. Только температура очень высока.

...Воздух был свежий, весенний, звенела капель, птичья стая с шумом пронеслась и уселась на крыше соседнего дома. По Тверской грохотали переполненные людьми трамваи. В доме у Скрябина настроение было более бодрое.

– Ему гораздо лучше, – говорила радостно Татьяна Федоровна, – температура упала, опухоль очень, очень уменьшилась. Он сейчас прямо молодцом чувствует себя. Даже и говорит так: я хочу за рояль, писать буду.

В комнате Скрябина были открыты шторы, было светло. Скрябин выглядел очень бледным.

– Вот я и воскресаю, – говорил он радостно, – все эти дни какие страдания были, самое ужасное это бред, эти ужасные мысли и призраки, содержание и смысл которых непонятен… Боль не так уж трудно переносить, я убеждаюсь, что страдания необходимы как контраст, – он говорил отрывисто, – я очень обезображен буду, – сказал он после паузы.

– Ну, нет же, – ответил Леонтий Михайлович. – Ведь доктор говорит, этого не будет.

– Вот только боль в груди мне мешает, я вздохнуть не могу, – сказал Скрябин.

– Это невралгическая боль, Александр Николаевич, – сказал доктор.

Скрябин становился все более беспокойным, он уже не лежал прямо, перекладывая руки с одного места на другое.

В кабинете доктор говорил с тоской:

– Похожа эта боль на плеврит. Это совсем скандал. Это заражение общее. Дело плохо. Не говорите Татьяне Федоровне… Ждем доктора Плетнева…

Являлись новые лица как мистические фигуры, было много докторов. Доктор Плетнев сказал тихо:

– Гнойный плеврит, общее заражение, стрептококки в крови.

...Скрябин бредил.

– Как это такое, – закричал он вдруг внятно, а потом снова тихий бред.

Княгиня Гагарина подошла к Марье Александровне.

– Дайте мне завещание, – тихо сказала она. – Нужна срочно подпись Александра Николаевича об усыновлении детей… Через госпожу Вырубову доложим государю в лучшем виде…

Княгиня вошла в полутемную спальню с опущенными шторами и осторожно приблизилась к кровати, протянув бумагу. Скрябин лежал спокойно и, кажется, был в сознании. Он больше не стонал.

– Подпишите, Александр Николаевич, – почти шепотом сказала княгиня.

Скрябин посмотрел на княгиню, как ей показалось, ясным взглядом и подписал.

– Позовите Таню, – сказал он внятно.

Когда Татьяна Федоровна вошла в спальню, Скрябин слегка поворотил к ней голову, и она увидела его живые блестящие глаза.

– Я понял, Таня, – сказал он, точно человек, нашедший наконец то, что всю жизнь искал, – я понял… Нет ни абсолютного добра, ни абсолютного зла… Все относительно… Единственное абсолютное зло – это бездарность…

Дверь в квартиру была распахнута настежь, на лестнице была масса народу, какие‑то посторонние люди, среди которых близкие как‑то терялись. Суетился Борис Федорович, приехавший наконец. Татьяна Федоровна была без слез, в траурном костюме и казалась в нем глубокой старухой. Лица не видно было под вуалью. Плакала тетя Люба. Провели об руки древнюю девяностолетнюю старуху Елизавету Ивановну, бабушку. Со скорбным лицом стоял Рахманинов, Танеев опустил голову на грудь. В толпе раздался шум, через плотную массу людей пробиралась чета Кусевицких. А мертвый Скрябин лежал тихо и спокойно. Кругом его готовились к панихиде, что‑то зажигали, раздавали свечи. Началась панихида.

...К вечеру все затихло. Квартира опустела. Марья Александровна увела детей в детскую. Татьяна Федоровна, пройдя по пустым комнатам, мимо все еще открытого, как в начале болезни, рояля, вошла в темную спальню. Шторы были открыты. Была лунная ночь, столь любимая Александром Николаевичем, и он лежал в лунных лучах какой‑то значительный и таинственный. Татьяна Федоровна постояла у изголовья мертвого друга, поцеловала его в лоб, как бы прощаясь на ночь и ушла в гостиную, прилегла там, усталая, на диван прямо в одежде. Скрябин остался один. Гроб его стоял на возвышении неподалеку от окна и был весь в цветах и венках. Меж тем неустойчивая апрельская погода сменила лунную ночь ветреной и дождливой с мокрым снегом. И в вое ветра словно начала проступать героическая и властная тема вступления к Третьей симфонии, тембр трубы возвещал о воле и самоутверждении. Вот она сменилась лирической, чувственно устремленной, которую вели скрипки. Уж перед самым рассветом, когда начало бледнеть окно, ветер стих, небо очистилось. Восходило солнце. Вот уже лучи проникли сквозь окно, коснулись гроба, в котором лежал Творец. И словно вторя солнцу, зазвучал мотив победы волевого начала над сомнениями и колебаниями. И фанфары дерзновенно и радостно, встречая новое утро, провозгласили: я есмь!

И снова, как бы соединяя пролог и эпилог, как бы замыкая круг, явилась надпись, которой все началось:

«Строительный камень и мечта сделаны из одного вещества и оба одинаково реальны. Неосуществленная мечта есть неузнанный издали предмет» (А. Скрябин. «Записи»).